

ISSN 0130 — 3597

ЛИТЕРАТУРНАЯ АРМЕНИЯ

8.1988





Б. О т а р о в. Памяти Нарекаци.

ЛИТЕРАТУРНАЯ АРМЕНИЯ

Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал Союза писателей Армении

«ԼԻՏԵՐԱՏՈՒՐՆԱՅԱ ԱՐՄԵՆԻԱ»

Հասարակական գրողների միության գրական-գեղարվեստական և
հասարակական-քաղաքական հանդես

Издается с декабря 1958 года

В НОМЕРЕ:

8 (357)
АВГУСТ 1988

ПРОЗА, ПОЭЗИЯ

СУРЕН ГАЗАРЯН. Это не должно повториться. Документальная повесть. Продолжение	2
ВАРДГЕС БАБАЯН. Стихи	50
ГРИГОР БАЛАСАНЯН. Два рассказа	52
ВАДИМ ПЕРЕЛЬМУТЕР. Стихи и переводы	60
ЮРИЙ КАРАБЧИЕВСКИЙ. Тоска по Армении. Повесть. Окончание	65

КРИТИКА

ИРИНА СЕМЕНКО. Ранние редакции и варианты цикла «Армения» О. Мандельштама	92
---	----

ИСКУССТВО

НИНА ГАБРИЭЛЯН. «Нельзя выйти из цепи обновления...»	104
--	-----

СРЕДИ КНИГ

ЖОРЕС АНАНЯН. Р. Хачатрян. Русская историческая мысль и Армения	109
---	-----

На первой странице обложки: Б. Отаров. Вечер на море.

Проза

Сурен Газарян

ЭТО НЕ ДОЛЖНО ПОВТОРИТЬСЯ

Документальная повесть

СОЛЬ-ИЛЕЦК

Ехали мы в неизвестность. Знатоки географии по названиям станций определили, что едем в Челябинск. Однажды наши снабженцы сообщили, что они точно узнали: едем в Соль-Илецк. Они оказались правы. 27-го сентября мы приехали в Соль-Илецк. Со станции повели пешком до Соль-Илецкой тюрьмы. Прохожие были как-то равнодушны к нашему шествию, по всей вероятности, такая картина для них была обычна.

Соль-Илецкая тюрьма не была приспособлена для заключения людей на длительные сроки. Это тюрьма пересыльного типа. В камерах не было коек, были только нары. Гинзбург и я попали в одну камеру. Гинзбургу не под силу было подниматься на высокие нары, и он устроился под нарами, на полу. Я не захотел оставлять его одного и устроился рядом с ним. Он протестовал, но я не обращал на это внимания.

Здесь были другие порядки. Надзиратели редко заглядывали в «глазок». Никаких номерных мест не было, каждый мог располагаться, как хотел. Даже карантин, обязательный для всех тюрем, здесь не соблюдался. Надзиратели были пожилые люди, часто они приходили на работу в штатском.

В камере нас было 20 человек. Запомнил я только одного, Якунина. Это был единственный уголовник, по какому-то недоразумению (а может быть, специально) попавший в нашу камеру. Попав к политическим и зная, что они «народ, напуганный», он стал их шантажировать:

— Вы фашисты. Я пойду к начальнику тюрьмы и расскажу о вас, какие вы контрреволюционеры. Я честный вор, я против Советской власти никогда ничего не замышлял, а вы все враги Советской власти.

Напуганные «фашисты» стали обхаживать Якунина. Его расчеты оправдались. Одни давали ему табак, другие отламывали ему корочку от своего скудного пайка, третьи делились с ним своим жиденьким супом.

Я упрекал их:

— Он вас шантажирует, а вы, вместо того, чтобы пресечь его, сами поощряете вымогательство. Пускай идет к начальнику! Чего он может добиться? Ведь мы тоже знаем дорогу к начальнику.

— Сами знаете, время какое! Пойдет, черт знает что натреплет, возьмут да расстреляют...

Якунин меня возненавидел.

Однажды мы столкнулись по какой-то причине.

— Ух, фашист, — сказал он мне. — Подожди, я тебе покажу. Стоит только попасть к начальнику тюрьмы...

Я ему ответил:

Продолжение. Начало в №№ 6, 7.

гательством. Спросите у этих изголодавшихся людей, как Якунин вымывает у них последний кусок хлеба.

Сперва все молчали, но нашлись два-три смельчака, которые подтвердили мои слова.

— Но вам не дано право избивать человека.

— Я знаю, что плохо пользоваться правом сильного, но у меня здесь ничего нет для защиты, кроме моих рук. Еще раз повторяю, если он и в дальнейшем будет находиться здесь, и будет продолжать вести себя так же, то дело дойдет до убийства. Я сильнее, я его убью.

Оперуполномоченный ушел. Прошло немного времени. Вызвали Якунина.

Почти вся камера напала на меня: «Не те времена, черт знает что наговорит Якунин начальнику тюрьмы. Ведь ищут малейший предлог, чтобы сделать пересуд и уничтожить нас» — и так далее в таком духе.

Гинзбург очень нервничал и обвинял меня в невоздержанности.

Однако Якунина долго не было. Прошла вечерняя поверка, а его все нет.

— Показания дает, — заключили некоторые.

Якунин вернулся через пять суток... Он был неузнаваем. Еще больше похудел. Молча лег на свое место. Кое-кто попытался заговорить с ним, но напрасно. Якунин молчал.

Часа через два его вызвали с вещами.

Непонятно, для чего надо было после карцера показывать его нам, а затем забирать из нашей камеры.

Больше я не встречал Якунина.

Наступили прохладные дни. Гинзбург, несмотря на мои настояния, не каждый день выходил на прогулку.

В конце октября или начале ноября 1941 года, вернувшись с прогулки, я не застал Гинзбурга. Узнал, что его забрали с вещами. «Неужели в другую камеру, неужели я больше не увижу Сергея Яковлевича?» — подумал я.

С переездом в Соль-Илецкую тюрьму мы стали еще ближе. Мы вместе перенесли тяжелейший этап, ради него я спал на цементном полу... Сколько раз Гинзбург повторял:

— Хотя бы нас не разлучили. О господи, что же будет, если нас разлучат?

И вот теперь так нелепо получилось, что мы даже не смогли сказать друг другу последние слова прощания. Я очень переживал эту разлуку, все время думал о нем. Каково же было Сергею Яковлевичу?

Я даже не заметил сразу, что Сергей Яковлевич, уходя, оставил мне на память свою фаянсовую сахарницу, которую он купил в орловской тюрьме. Я не расставался с этим сувениром никогда. Эту сахарницу я вынес из тюрьмы на свободу.

Меня тоже перевели в другую камеру.

подавляющее большинство сокамерников были членами партии. Среди них были: Иван Иванович Радченко, старейший профессиональный революционер, активный участник Октябрьской революции, брат известного Радченко — участника второго съезда партии. Ивану Ивановичу было тогда 75 лет, а может быть, и больше. Он был арестован в 1937 году в должности начальника Главторфа и приговорен к 25 годам тюрьмы.

— Вот вам и логика, — говорил Радченко, — семидесятипятилетнего старика осуждают на 25 лет тюрьмы. Значит, свой столетний юбилей я должен отметить в тюрьме.

Радченко вступил в партию в прошлом столетии, кажется, в 1898 году. Неоднократно подвергался репрессиям со стороны царского правительства. Лично знал Ленина. В последние дни жизни Владимира Ильича в Горках Радченко не раз бывал у него. Мы с большим вниманием слушали его увлекательные рассказы о Ленине, о встречах с ним, о болезни Ильича, о последних днях его жизни. Радченко много рассказывал о своей подпольной работе, о своем брате, о репрессиях...

Мирон Белоцкий. Он был одним из секретарей Центрального комитета компартии Киргизии. Был осужден на 15 лет тюрьмы. Энергичный, подвижный человек. Средних лет мужчина, крепкого телосложения, здоровый, с красивыми

— Вот что. Якунин, если ты еще раз обзовешь меня фашистом, пеняй на себя. Твои угрозы оставь при себе, они на меня не действуют. Иди хоть сейчас к своему начальнику, но не болтай. Понял?

Якунин был человек маленький, тщедушный. Я по сравнению с ним — верзила. Якунин будто взвесил обстоятельства и замолчал. Он отошел от меня.

Через несколько дней мы снова столкнулись.

На моем дежурстве он пытался украсть пайку при получении хлеба. Я его поймал и пристыдил.

— Не твое дело, не суйся, фашист проклятый! — зашипел он.

Я взял его за шиворот, оттащил от дверей до другого конца камеры и сильно ударил по лицу. Он покатился до параша и упал. Затем поднялся, схватил медный чайник и грозился убить меня. Я спокойно сказал ему:

— Это тебе за фашиста, а чайник ты брось. Каждый раз будет так, когда обзовешь меня фашистом. Я с тобой связываться не хочу, но буду бить тебя, пока не перестанешь.

— Я честный вор, а ты фашист. Как ты смеешь бить меня?

Он снова поднял чайник и стремительно пошел на меня. Гинзбург очень нервничал:

— Не связывайся с ним, Сурен, слышишь?

Но я уже ничего не слышал. Я потерял контроль над собой, схватил за руку подошедшего, Якунина, отобрал у него чайник и начал бить. Он не был в состоянии ответить мне хотя бы одним ударом. А я бил, бил...

— Что вы там делаете? — спросил дежурный.

— Разве вы не видите, что мы делаем? Один избивает другого. — говорю я и продолжаю бить при дежурном: «Вот тебе за фашиста!»

Странно, что дежурный не счел нужным вмешаться. Он буркнул, скорее для формальности: «прекратите безобразничать», закрыл форточку и отошел.

Якунин был окровавлен. Никто из сокамерников не вмешался.

— Вот тебе первый урок. Если еще раз назовешь меня фашистом — будет то же самое. А теперь иди к начальнику тюрьмы и жалуйся, у тебя есть основания.

— Ты будешь отвечать перед начальником тюрьмы! — сказал сквозь слезы Якунин, стал барабанить в дверь и потребовал в камеру начальника корпуса.

«Корпусный» явился после проверки.

— Кто здесь порядок нарушил? — спросил он.

Никто не отвечал. И я молчу.

— Я спрашиваю, кто нарушил порядок?

Молчание.

— В третий раз спрашиваю, кто нарушал порядок?

Молчание.

Тогда он обратился к Якунину.

— Ну скажи, кто?

Якунин молча показал пальцем на меня.

— Почему вы не отвечаете на мой вопрос?

— А потому, что вы ищете нарушителей порядка, а я никакого порядка не нарушал. Ваш вопрос не имел ко мне отношения. Что касается Якунина, то он меня обидел, я его избил. Какое же это нарушение порядка? А если вас интересуют подробности, чем он меня обидел и почему я его избил, то пусть начальник тюрьмы меня вызовет, я ему скажу.

Старший записал мою фамилию и ушел.

Через несколько минут зашел в камеру оперативный работник. Он был подчеркнуто вежлив и, выслушав жалобу Якунина, обратился ко мне:

— Это верно, что вы его избили?

— Избил. До крови. А если он и в дальнейшем будет находиться в нашей камере, возможно, я его убью. Вы не имеете права держать уголовников в одной камере с нами. Если же он является вашими глазами и ушами у нас, то вы выбрали очень неумного агента. Он с утра до вечера угрожает и занимается вымо-

большими черными глазами, волевым лицом. Он свободно владел немецким языком и делал переводы. Помню, как из немецкой хрестоматии Белоцкий сделал несколько хороших переводов стихотворений Гейне и Шиллера.

В Соль-Илецкой тюрьме уже сказывалось сокращение пайка. Все исхудали. Разговоры на любую тему незаметно переходили на еду, вспоминали вкусные блюда. Голодные люди начали проделывать разные опыты (не опыты а фокусы) над едой, чтобы создать видимость сытости. Один берет кусочек хлеба, не больше ста граммов, мелко крошит в миску, густо солит, льет туда полную миску воды и с аппетитом хлебает эту соленую тюрю. Через некоторое время он заболевает воспалением кишечника и попадает в больницу. Другой поступает иначе. Целый день ничего не ест, а вечером садится за богатый ужин, состоящий из дневной порции хлеба, обеда и ужина. Третий ест через день. День голодает, а на второй день ест двойную порцию хлеба, обеда и ужина. Четвертый копит только вечернюю кашу и потом сразу съедает ее, порой уже заплесневелую. Пятый из хлеба сушит сухари и съедает сразу накопившийся за несколько дней запас. И так далее.

Радченко, Белоцкий, я и один молодой украинец вели борьбу против этого вредного самообмана. Доказывали, что питательность пищи от этого уменьшается. Но мы не могли повлиять на камеру. Нашелся даже один зоотехник, который утверждал, что вчерашняя каша сегодня становится гораздо питательнее. И это говорил человек с высшим образованием.

— Но это же абсурд, — убеждали мы. — Каким образом может увеличить питательность, если каша лежит и портится? Откуда возьмутся эти питательные вещества, эти дополнительные калории, из воздуха, что ли?

— Конечно, — упорно настаивал он, — именно из воздуха. Под действием воздуха происходит реакция, и соотношение питательных веществ меняется в сторону увеличения.

Неудивительно, что этот сторонник залежалых каш вскоре попал в больницу и, как мы узнали потом, умер от дизентерии.

Как только мы приехали в Соль-Илецк, я написал заявление в ЦК ВКП(б) с просьбой отправить меня на фронт. Никакого ответа не получил. Через некоторое время я послал второе заявление. Так же поступил и Белоцкий.

Ни Белоцкий, ни я не получили ответа.

— Удивительные вы люди, — говорил Радченко. — Неужели вы не понимаете, что когда ведется война, то все враждебные государству силы обезвреживаются. Какая наивность, господа!

— Все это верно по отношению к врагам советского государства, но мы же не враги, черт побери, неужели они не знают, что мы не враги!

— Пятый год сидите в тюрьме и продолжаете кричать, что вы не враги. Смешно ведь. Когда же вы поймете, что мы все, и вы в том числе, являемся для тех, кто арестовал нас, врагами и даже очень опасными врагами? Прекратите бессцельное занятие, никто вас на фронт не отправит.

Но мы продолжали считать себя коммунистами. Что с того, что наши партийные билеты насильно отобраны? Ведь наши убеждения от этого не изменились! Нам было очень тяжело, что в такое трудное для нашей страны время мы обречены на безделье и не по своей вине сидим на шее у государства.

— Нет, как хотите, Иван Иванович, я не вижу никакой логики в том, что нас причислили к врагам советского государства, — говорил Белоцкий.

— У вас детская логика, — махнул рукой Радченко. — Неужели вы не поняли, что сегодняшние события Ленин предсказал двадцать лет назад? Правда, эти слова Ленина остались под спудом и на них висит большой замок. Широкие партийные массы могут и не знать, о чем говорил Ленин в последние дни своей жизни, но вы, товарищ Белоцкий, были партийным руководителем целой республики, вы, безусловно, знаете слова Ленина о том, что может произойти, когда **необъективный человек сконцентрирует** в своих руках **неограниченную власть**. Вот и сбылись слова гениального Ленина. Все те, которые могли когда-нибудь помешать этому человеку осуществить **свою** неограниченную власть, проводить **свою** политику, не советуясь ни с кем, все эти люди физически уничтожены. Мы с вами счастливые единицы, оставшиеся в живых. Не все, конечно, уничтожены.

Всех не уничтожишь. Какая-то часть старой ленинской гвардии уцелела. Она отлично понимает, что к чему, и я представляю, как им трудно в создавшейся обстановке. На нее вся надежда. Поймите, до тех пор, пока партия не скажет своего слова, не поставит на место этого человека, не вернется к заветам Ленина, нас будут рассматривать как злейших врагов советского государства.

— Но я же клялся и божился именем этого человека, — не сдавался Белоцкий. — За что же меня уничтожить или сажать в тюрьму как врага и так строго охранять, тратить на это государственные деньги?

— Милый вы человек, поймите же, у вас опыт партийной работы, вы пользуетесь авторитетом, вас уважали и любили, к вашему слову прислушались... Вот и выходит, что опасно держать вас на этой работе, у руководства, вы завтра используете свое суждение, скажете **свое** слово, а у вас авторитет, вас услышат другие. Поэтому вас надо уничтожить или упрятать в тюрьму так, чтобы вы не смогли выйти оттуда, и вместо вас надо посадить у руководства нового человека, неопытного и неавторитетного, который не имеет своего мнения и ждет, что ему скажут сверху. Такой руководитель очень удобен и безопасен для человека, заинтересованного в сохранении своей неограниченной власти. Вот поэтому наши товарищи, всем известные, всеми уважаемые партийные руководители, военные командиры, крупные советские и хозяйственные работники физически уничтожены, а отдельные уцелевшие томятся в тюрьме. А вы хотите быть на особом счету, вы проситесь на фронт, пишете заявления о своей невинности. Бросьте все это, бросьте. Это ребячество. Из моих слов не следует делать вывод, что я потерял веру в партию. Нет, я верю в партию, которую долгие годы воспитывал Ленин. Ни одно преступление в мире не остается безнаказанным. Человек, который оставил такой кровавый след, не может уйти от ответственности за свои злодеяния. Партия выйдет из этой полосы, и если мы доживем, напишем ли мы заявления о своей невинности, или нет, она откроет перед нами двери тюрьмы и скажет: «Выходи, милый человек, ты достаточно выстрадал совершенно невинно, выходи, вернись к жизни». Доживем ли мы с вами до этого дня, не знаю, но надо дожить, надо...

Однажды вызвали меня к начальнику тюрьмы. За столом сидел Севостьянов. Он приехал с нами из Орловской тюрьмы. Он был необычайно вежлив со мной. расспрашивал о здоровье, настроении и сам предложил написать письмо домой. Ведь после того, как война началась, мы никакой переписки не имели.

Я написал письмо матери.

Затем Севостьянов объявил мне, что скоро наступит резкое изменение в моей судьбе, что я включен в список лиц, которые должны быть освобождены и соответственно использованы.

— Для этого необходимо, чтобы вы написали коротенькое заявление осудившей вас Военной коллегии с просьбой об отмене вашего приговора. Никаких мотивировок не надо, это для пустой формальности, — сказал Севостьянов.

Я тут же написал требуемое заявление и, возбужденный, взволнованный, вернулся в камеру. Я потерял покой. Неужели наступит день свободы, возвращения к жизни? Я поделился с Радченко и Белоцким о разговоре с Севостьяновым. Белоцкий воодушевился.

— Все-таки наша взяла, Иван Иванович. Скоро мы снова найдем наше место, — говорил он.

Радченко призадумался:

— Это маловероятно. Но я искренне желаю, чтобы это было так. Дай бог!

Однако проходили дни и недели, но ничего не произошло. Мое волнение сперва с каждым днем нарастало, но затем постепенно улеглось.

Иван Иванович тяжело заболел. Его перевели в больницу. Перед уходом из камеры он тепло попрощался с нами, пожелал свободы.

— Что касается меня, то я, наверно, обману суд. Я не отсижу положенного срока.

Да, Иван Иванович не вышел из больницы Соль-Илецкой тюрьмы.

Весной 1942 года нас перевели в Тобольскую тюрьму. До Тюмени нас везли в «столыпинских» вагонах, а в Тюмени перегрузили на буксирную баржу. На

барже среди заключенных я искал Гинзбурга, но его нигде не было. Я расспрашивал людей и наконец нашел человека по фамилии Сикач, бывшего ответственного работника Главсахара, который сидел вместе с Гинзбургом, вернее, лежал с ним в больнице Соль-Илецкой тюрьмы. Сикач рассказал, что у Гинзбурга развилась общая слабость, что он почти все время лежал.

— 11-го февраля утром, — рассказал Сикач, — после оправки он снова лег. Я не обратил на это внимания, так как он почти все время лежал. Принесли хлеб. Я получил и за себя, и за него, как это делал всегда. Гинзбург всегда храпел. Храп начинался сразу же, как только он засыпал. Теперь он лежал молча. И на это я не обратил внимания, думал, что он не спит, а просто лежит. Принесли кипяток. «Ну, Сергей Яковлевич, давайте пить чай. Дать вам в постель или вы встанете?» — сказал я ему. Гинзбург не отозвался. Я подошел к нему. Он лежал неподвижно. Прислушался — не дышит. Он был мертв.

— Бедный Сергей Яковлевич! — вырвалось у меня.

— А вы, наверно, Газарян, да?

— Да!

— Каждый день и по всякому поводу он вспоминал вас. Он сокрушался, что вас с ним так неожиданно разлучили, что он не успел на прощание сказать вам все то, что хотел сказать. Он вас очень любил, много рассказывал о вас и всегда с особой теплотой и любовью. Он верил, что снова встретится с вами. Бедный Сергей Яковлевич, хороший был человек, — закончил свой рассказ Сикач.

Много лет прошло с того времени, но я с чувством глубокого уважения и любви вспоминаю дорогого Сергея Яковлевича, с которым в течение почти двух лет делил суровое заключение в Орловской тюрьме, нечеловеческие условия этапа из Орла в Соль-Илецк и кратковременное пребывание в Соль-Илецкой тюрьме под нарами на цементном полу. Очень жаль, что ему не суждено было обнять своих дорогих — сына, дочь, внука, — о чем он мечтал всегда.

ТОБОЛЬСКАЯ ТЮРЬМА

С баржи мы не могли видеть красивые берега. Баржа была предназначена, по всей вероятности, для перевозки скота. Но вряд ли при перевозке скота допускалась такая уплотненность. Плотная человеческая масса, телом к телу, злование до одурения. Большого не придумаешь, чтобы унижить человеческое достоинство. Вся Соль-Илецкая тюрьма поместилась на этой барже, но среди заключенных мало было людей, приехавших из Орла. Большинство осталось лежать в соль-илецкой земле.

В Тобольской тюрьме я попал в большую камеру. Те же вбитые в пол тяжелые массивные койки, стол и скамейки и большая деревянная параша. В этой камере нас было около двадцати человек. Мало я жил в этой камере и позабыл почти всех сокамерников, но одну встречу не забуду.

Этого человека я увидел на барже. Сгорбленный, подслеповатый старик, опустившийся до предела. Подозрительный ко всем, он считал, что его обижают, обкрадывают. Каждый раз при раздаче хлеба и рыбы поднимал шум, говорил, что люди пользуются его слабостью, тем, что он плохо видит, и обирают его. Иногда впадал в истерику, плакал. В камере, узнав его фамилию, я сказал:

— Я знал в Тбилиси одного Карклина, уполномоченного Наркоминдела СССР по Закавказью...

— Да, был такой Карклин, — сердито ответил он, — и вот его остатки перед вами.

Я не поверил собственным глазам и ушам. До какой степени может измениться человек! Что могло быть общего между этим опустившимся жалким стариком и тем Карклиным, красавцем мужчиной, всегда с иголки одетым, как того требовала должность дипломата, которого я знал до 1937 года.

Когда я представился и сказал, что хорошо его знаю, думая, что, возможно, он вспомнит меня, он недоверчиво посмотрел на меня и покрепче прижал к себе мешочек с хлебом.

— Но что с вашими глазами? — спросил я.

— Я был в аду, а там огонь жаркий, не только глаза, но и душу человека сжигает. Глаза еще видят, на расстоянии протянутой руки кое-что различаю. Но душа моя испепелена, человека во мне уже нет.

Да, он был прав, в нем ничего человеческого не осталось.

О, проблема еды! Никогда бы не подумал, что она может иметь такую власть над человеком.

Из обитателей этой камеры помню также Гусейна Алекперова. Он азербайджанец, но работал в Узбекистане, был редактором одной из районных газет. Плохо говорил по-русски, мы объяснялись с ним на турецком языке.

Он часами мог говорить о своей жене Соне и о единственном сыне Алекпере. Каждый день начинался с того, что Гусейн рассказывал свой сон, в котором, конечно, видел Сону. Сочинял стихи и распевал их на мотив баяти. Во всех стихотворениях упоминались имена Соны и Алекпера. В стихах он жаловался на свою горькую судьбу, говорил о своей безутешной тоске.

Гусейн Алекперов тоже, как и другие, писал множество заявлений о своей невиновности, о судебной ошибке в отношении него, просил о пересмотре дела...

Другой заключенный по фамилии Махоткин из Одессы также сочинял стихи. Сколько развелось в тюрьме стихотворцев... Но «перлы» Махоткина вроде

Тантала муки что пред ним?

Это лишь жалкий синоним...

были, пожалуй, непревзойденны.

Меньше месяца пробыл я в этой камере. Очередной окрик «соберитесь с вещами» — и я оказался в другом корпусе, в маленькой камере с одной-единственной койкой в ней.

Сперва я подумал, что это временная пертурбация, но проходили дни за днями, недели за неделями, а я все сидел в этой одиночке.

Камера была чистая, только что отремонтированная, с деревянным полом, без свода. Сперва мне показалось, что в одиночной камере спокойнее, только книг не хватает — ведь в одиночке тоже давали одну книгу на декаду. Но очень скоро я убедился, что чувство этого относительного спокойствия обманчиво, и чем дальше, тем острее становилась жажда общения с людьми. За время одиночного заключения никого, кроме надзирателей, я не видел, а с надзирателями разговаривать нельзя. Деньги покойного Сергея Яковлевича еще не кончились. В ларьке кроме табака, моркови и турнепса ничего не было. Табак-самосад был дорогой, но очень крепкий, поэтому для меня, любителя легкого табака, экономный. По-прежнему не разрешали писать и получать письма. Я не знал, что делается дома.

В Тобольске не чувствовалось дыхания войны. Ни затемненных окон, ни воздушных и прочих тревог. Изредка слышался гул одиночного самолета и постепенно растворялся. Газет не давали, и я не знал, что делается на белом свете, какие вести с фронтов. Из одиночной камеры тобольской тюрьмы я снова обратился в ЦК с просьбой об отправке меня на фронт, но опять-таки никакого ответа не получил.

Карточки детей давно были у меня отобраны, еще до этапа из орловской тюрьмы. Я забывал черты детей и матери.

Чем дальше, тем сильнее ощущался голод, чем дальше, тем чаще снились обильные столы. В таких случаях досадно бывало пробуждение.

В одиночке время течет медленно, намного медленнее, чем в общей камере. Я обнаружил, что плановое распределение времени помогает ускорению его течения. И я разработал себе план. После подъема до утренней поверки промежуток времени небольшой, но он насыщен «событиями»: надо привести в порядок постель, пойти на opravку, затем ждать получения хлеба, кипятка, позавтракать. После поверки до обеда надо убить три-четыре часа, а после обеда до ужина — пять-шесть часов. Затем остается еще 2-3 часа. Вот сколько времени надо убивать каждый день. Но за день много «операций». К ним прибавляются еще ежедекадные процедуры — баня, обмен книг, выписка продуктов из ларька, получение их, систематические обыски. Кроме того, через день обход сестры, во время

которого обязательно попросишь что-нибудь от головной боли, больше для разнообразия, чем от боли, запишешься иногда к врачу, тоже для разнообразия. В промежутках между этими операциями надо читать, кое-что записать в тетради, делать в камере до 25 тысяч шагов и... думать. Теперь уже все меньше и меньше задаешь себе вопрос: «За что, за что?..» Вспоминаешь слова Медниса, Петровского, Радченко, призадумываешься над ними.

В одиночке часто вспоминаешь прошлое, свою жизнь с самых детских лет. Не знаю, кому принадлежит мысль, кажется Данте, что нет большего страдания, чем вспоминать о счастливых временах в годину горя. Да, это очень правильно сказано. Сердце сжимается, когда, шагая из угла в угол маленькой камеры или лежа на спине бессонными ночами, вспоминаешь свое прошлое, которое сквозь толщу времени обрисовывается в памяти еще более радужными красками, вспоминаешь всех, с кем жизнь тебя свела, врагов и друзей, выбираешь из них близкие, дорогие лица, из которых «иных уж нет, а те далече»...

Много раз эти воспоминания возвращали меня к детству, в далекий-далекий город Карс, пыльный и сонный, отвоеванный у Турции в 1877 году и отошедший к ней в 1920 году. Исконная земля армянского народа, центр страны Вананд, «страна Наири», с удивительной любовью и талантом воспетая Егише Чаренцем...

Город Карс, о котором говорили: «Летом пыль, зимой лед, а весны не видать». Город на самом юге царской России, население его едва составляло 25 тысяч человек. Но постоянное нахождение в Карсе большого гарнизона русских войск с многочисленным офицерством влило в него живую струю кипучей жизни. И сонному городу не давали спать.

Офицерский клуб, гражданский клуб, летний и зимний театры, большой каток на реке, огромный парк, ежегодные длительные гастроли русских и армянских театральных трупп, два кинотеатра — «Иллюзион» и «Аполло»... Да, много было культурных учреждений в Карсе. Каток был любимым местом времяпрепровождения не только офицерства, но и учащихся карсских школ. А школ в Карсе было много: женская гимназия, реальное училище, женская Мариинская прогимназия, городская школа, Алексеевское училище и, наконец, армянская церковно-приходская школа...

Были и церкви. Кроме знаменитого собора Двенадцати апостолов, конфискованного у армян и превращенного в гарнизонную церковь, были еще две армянские церкви. Но община взялась за постройку новой большой церкви. Строительство шло медленно, а затем было законсервировано из-за отсутствия денег, но вдруг привалило счастье: умер бездетный богач Чалтикян. Он оставил завещание: отдать на достройку церкви необходимую сумму, но с условием, чтобы его похоронили в ограде этой церкви. Ради этих денег стоило, конечно, отвести клочок земли усопшему Чалтикяну.

Затем построили огромную церковь — новый русский кафедральный собор.

В Карсе жили и армяне-католики. Хотя их была горсточка, но и они имели свою церковь.

Лежу с закрытыми глазами в одиночной камере далекой тобольской тюрьмы и вижу перед собой кривую крутую улочку, ведущую в наш квартал, старинный район города, под горой, где домики были построены террасами на склоне горы, с плоскими земляными кровлями, и нередко крыша одного дома служила крыльцом для другого. Вижу наш небольшой двухэтажный домик, семью за вечерним чайным столом, главу семьи — строгую, но справедливую мою бабушку, которая в годы походов генерала Паскевича была девушкой на выданье...

Вижу перед собой любимое место игр, Чайи-баджаси — вид на реку. Внизу извивалась узкая лента речушки Карс-чай, которая, однако, причиняла немало хлопот жителям обоих берегов во время обильных дождей и весеннего половодья.

С Чайи-баджаси виден кусочек ущелья — запретной зоны, и красивый особняк коменданта крепости. Перед входом в ущелье возвышалось суровое каменное здание военной тюрьмы с маленькими, словно бойницы, окнами, забранными густой решеткой. Мы тогда ничего не понимали в том, что за стенами этого мрачного здания томятся «политические преступники», борцы против самодержавия. Мы тогда видели полосатую будку часового, колокол перед будкой, который зво-

нил, когда комендант крепости выезжал на своем фаэтоне из особняка. Часовой в таких случаях звонил в колокол. На звон моментально высыпала дежурная вахта, становилась по стойке «смирно» и гавкала приветствие, когда комендант проезжал мимо тюрьмы. Все это нам очень нравилось, и, заслышав звон тюремного колокола, мы устремлялись в Чайи-баджаси...

Чайи-баджаси... Шла первая мировая война. Царь Николай Второй — Верховный Командующий — приехал на Южный фронт. Роскошный особняк коменданта крепости Карса стал его резиденцией. Вся дорога от железнодорожного вокзала до особняка была разукрашена трехцветными флагами, вензелями. По обеим сторонам дороги шпалерами стояли солдаты. Они должны были кричать «ура» во время проезда царя мимо них. Все окна домов, выходящих на дорогу, были наглухо заколочены.

Все жители нашего Чухур-майла потеряли головы. Каждый старался занять удобную позицию на площадке Чайи-баджаси. Мы, дети, конечно, должны были быть впереди всех. Шутка ли, увидеть живого царя в такой близости...

Только моя бабушка была холодна ко всему происходящему. У нее была своя философия.

— Что вы суетитесь, как сумасшедшие? — говорила она. — Подумаешь, царь... Разве не царь хотел отнять наши церковные земли и имущество, закрыть армянские школы? Он бы сделал это, если бы не наш Хримян-айрик... Окна заколотили, боятся, что его убьют. Если он хороший человек, чего бояться? Разве хороших людей убивают? Я не хочу смотреть на его противное лицо...

Мы, дети, были разочарованы. Мы ждали, что увидим царя красивого, могучего, в царском облачении, с короной на голове, такого, что смотрел на нас с портрета в нашей школе, перед которым каждый день до начала уроков мы становились на молитву и просили у бога дать царю многих лет жизни... А проезжал обыкновенный офицер, в обыкновенной шинели и папахе, какие носят в Карсе все офицеры и каких мы видели каждый день...

Чем дальше, тем сильнее и лихорадочнее работает память, вытаскивая из глубины лет события далекого детства, новые и новые лица. Сколько раз в тесной одиночной камере я заново переживал свое детство, «побывал» в Карсе...

Вот в моем калейдоскопе памяти появился наш сосед Акоп Голанджян — судебский писарь. Маленький, сгорбленный пожилой мужчина с тонким писклявым голосом. Отец называл его таинственным и непонятным словом «социалист». Он часто приходил к отцу поговорить, почитать газету. Я ничего не понимал тогда из всего того, что он говорил.

— Пойми, Ованес, царская власть самая несправедливая власть. Ты дальше своего носа не видишь, а вот я вижу далеко. Русский царь самый хищный кровосжадный паук, он напился крови лучших людей России, которые хотят ликвидировать эту несправедливую власть и установить такое государство, чтобы всем жилось хорошо. Мы должны бороться до конца, пока не свергнем царя с трона... Наша жизнь уже позади, Ованес, но надо сделать так, чтобы нашим детям жилось лучше. Пока царя не свергли, такой жизни создать не можем...

При этом он нежно гладил меня по голове.

Я прислушивался к словам Голанджяна и ничего не понимал. «Какой смешной, этот дядя Акоп; сам такой близорукий, что даже сквозь толстые очки еле видит, а говорит, что видит далеко, куда дальше, чем отец, а отец и без очков очень хорошо и далеко видит. Каким образом этот маленький человечек, почти старик, задумал бороться с самодержавием и так уверенно говорит о победе? Ведь самодержавие — это много-много офицеров, солдат, казаков, это комендант крепости, грозный комендант, которого все боятся, это полицеймейстер, огромный тучный человек, это губернатор, которого я видел один раз — генерал с длинными усами, это усатые, пузатые городовые. Ведь городской Тигран одним ударом сшибет Голанджяна, так что ничего от него не останется... А сколько у царя оружия, пушек, снарядов, винтовок... А что есть у Акопа? Ничего...»

Часто появлялся «социалист» Акоп в моей одиночке, при этом я ощущал его присутствие так реально, что чувствовал, будто он гладит меня по голове и говорит: «Надо сделать так, чтобы нашим детям жилось лучше...» В таких случаях мне казалось, что я открою глаза и увижу Акопа. И открывал...

Шагаешь ли по камере или в прогулочном дворике, читаешь ли книгу, лежишь ли бессонной ночью, думаешь ли о близких, разговариваешь ли сам с собой, все равно мысли уносят тебя в прошлое...

Вот часовщик Акоп, он будто сделан из отдельных шариков. Самый большой шарик — туловище на двух шариках-ногах. Другой шарик — голова, — прямо на туловище, шеи не было. Этот шарик состоял из других мелких шариков — щек, подбородка, даже круглого носа. В орбитах глаза — два блестящих шарика. Это его ремесло часовщика вытянуло их из орбит.

Акоп был очень добродушным человеком, большим любителем детворы. Его появление у нас дома мы, дети, всегда встречали с восторгом и каждый из нас старался завладеть каким-нибудь шариком дяди Акопа. Мы висли на нем, не обращая внимания на замечания взрослых. Он не без удовольствия таскал нас, кряхтел под тяжестью...

Он показывал нам интересные фокусы. Вытягивал пустую руку с растопыренными пальцами, а потом спрашивал: «Почему ты спрятал в носу конфетку?» Мы знали, что этой же рукой он из носа вытаскивает вкусные конфеты по одной для каждого из нас. А как ловко он втирал монету в руку. Мы смотрели во все глаза и никак не могли заметить, куда исчезала монета.

Но мы больше любили фокусы с конфетами.

— Дядя Акоп, покажите еще фокус с конфетами, вот у меня в ухе конфетка, — просили мы.

— Нет, братцы, не могу больше, я устал. Шутка ли — вытаскивать конфеты из носа или уха...

У него не было детей. Его жена — огромная грудастная женщина с ласковым именем Манушак (Финалка) делала все для того, чтобы подарить мужу ребенка. Но даже самая авторитетная повивальная бабка Кишо не смогла помочь...

Я заболел скарлатиной. Дядя Акоп навестил меня и обещал, что когда я выздоровлю, он подарит мне часы.

— Самые настоящие, дядя Акоп, которые тикают?

— Самые настоящие, которые тикают.

Я выздоровел и ждал, а дядя Акоп совсем забыл о своем обещании.

— Дядя Акоп, а вы можете вытаскивать из носа часы? — наконец отважился я спросить его однажды.

Он не понял моего намека.

— Часы? Что ты! Это невозможно, я вытаскиваю только конфеты.

А вот торчит перед глазами высокий, с несуразно длинными ногами человек с очень маленькой по сравнению с ростом головой, похожей на дыню. Это парикмахер Джан-джан. Его величали «уста Джан-джан», а за глаза называли не иначе, как «Лаглаг» — аист. Это за его длинные ноги. Он был одновременно лекарь. В его цирюльне можно было найти самые лучшие пиявки и лучше всех в городе он умел ставить их. При несчастных случаях чаще обращались к Джан-джану, а не в «Приемный покой доктора Казанджяна». Я тоже испытал на себе мастерство Джан-джана. Мать в «верхних комнатах» стегала одеяло, я ей мешал. Чтобы избавиться от меня, она сказала, что бабушка внизу ест груши. Груши! О, она знала, как я их люблю. Я пулей выскочил, но прежде чем спуститься вниз, решил проверить, не обманули ли меня. Я подошел к краю крыльца, лег на живот, пополз вперед, чтобы посмотреть вниз. Камень, на который я лег, пополз вместе со мной, и я полетел. Меня спасло то, что я упал на голову бабушки, а потом покатился на землю. Это спасло и бабушку. Если бы камень упал ей на голову... Бровь у меня была рассечена. Но есть испытанное средство для остановки кровотечения: смесь паутины и пепла от сожженной тряпки. После этой «первой помощи» была вызвана «скорая помощь» — уста Джан-джан...

Бывало, я проходил мимо его цирюльни, а он сидит на ступеньках, греется на солнце, зевает от безделья. Увидев меня, он подзывал к себе, трогал пальцами волосы на голове, и если находил, что уже время их стричь, брал за руку, усаживал на стул.

— Иди скажи отцу, что уста Джан-джан тебя постриг.

Отцу это стоило три копейки, но не всегда он одобрял действия Джан-джана.

— Еще можно было подождать неделю. Мудрит он, Лаглаг.

Часто приходил в мою одиночку прославленный армянский композитор Армен Тигранян. Появлялся, садился на край моей койки, смотрел на меня своими добрыми грустными глазами и говорил:

— До чего тебя довели, Сурен, что с тобой, как это могло случиться?..

Я познакомился с Тиграняном в 1919 году и стал близким человеком в его семье. Он тогда жил в Тбилиси и изредка приезжал в Александрополь для постановки своей оперы «Ануш». Тогда эта опера еще «ходила в лохмотьях».

Тигранян в те годы очень нуждался. Семья большая. Кроме того, жена его убитого бандитами брата с двумя детьми не захотела уйти из этого дома, и Тигранян на свой скудный зарплаток учителя музыки кормил девять человек.

Тигранян проводил большую общественную работу как председатель музыкальной секции Дома армянского искусства в Тбилиси. Он привлек к общественной работе также своих музыкально одаренных детей — дочь Эмму и сына Варданика. Дом армянского искусства сыграл большую роль в укреплении братских связей армянского и грузинского народов, а музыкальная секция была тесно связана с композиторами Грузии Захаром Палиашвили, Дмитрием Аракишвили и другими.

Удивительные человеческие качества украшали Тиграняна. Он был до стеснительности скромнен. Характер мягкий, покладистый, любил шутки, был остроумен, реакция быстрая, юмор тонкий. Всесторонне развитый, начитанный, очень интересный собеседник.

Тиграняну были чужды слова «устал» или «нет настроения». Когда он возвращался домой с работы, довольно тяжелой и утомительной, дети — его и брата — окружали его тесным кольцом. Дети ждали от него многого. Он должен был смастерить разные интересные и забавные игрушки, придумать новые конструкции.

— Хорошо, хорошо, — говорил он детям, — сперва пообедаем, а потом приступим к работе, не нарушая наш уговор...

А уговор заключался в том, что сперва каждый из них должен был отчитаться: как он провел день, что было в школе, какие получил отметки, и так далее. Получивший плохую отметку или замечание за плохое поведение не имеет права участвовать в играх.

Много раз «обед» состоял из чая с хлебом и сыром, а иногда не было и сыра. Но за столом царило такое веселье, будто семья собралась на роскошный пир.

Всегда уравновешенный Армен Тигранян никогда не повышал голоса. Даже при жарком споре он не выходил из себя. Но было исключение... Он очень любил игру в нарды, но не любил проигрывать, и когда проигрывал, искренне злился.

Армен Тигранян интересовался техникой. В его библиотеке можно было видеть разные специальные технические книги, и он часто листал их.

Дети с нетерпением ждали наступления какого-нибудь праздника. Армен Тигранян устраивал им настоящий фейерверк. Он умел мастерить разные ракеты и сам по-детски радовался, когда они рассыпались в небе разноцветными огнями.

Тигранян жил на улице Давиташвили. Напротив жил Ованес Туманян. Именные представители армянского народа, его гордость, были соседями...

В тюрьме я читал в газетах о декаде армянского искусства и литературы в Москве. «Ануш» Тиграняна сбросила свои «лохмотья» и вышла на сцену Большого театра. Я радовался за Тиграняна и очень, очень волновался.

Да, часто приходил он в мою одиночку и утешал меня:

— Ничего, Сурен, терпи, дорогой, и это пройдет...

Одинокое заключение продолжалось. Однажды во время очередной поверки утром зашел в камеру старший по корпусу... в офицерских погонах. Дежурные вырядились в солдатские погоны. Я не могу передать словами то впечатление, которое произвело на меня появление тюремных работников в погонах. Что случилось? Власть переменилась, что ли? Остро ощущал необходимость поделиться с кем-нибудь. Но с кем? Я старался найти причину, вызвавшую эту переменную. Ведь шла война, наша армия сражалась в союзе с американцами, англичанами, французами. Какие-то международные обязательства?.. Хотя, в конце концов, какое это имеет значение, ведь давно же введены воинские звания, я сам имел звание,

установлены знаки различия, я сам носил их. Какое имеет значение, как носить эти знаки различия — на петлицах, как было раньше, или на погонах, как установлено теперь? И все же появление погонов было для меня поразительной неожиданностью.

Бывает, читаешь книгу и думаешь о том, что в жизни такого не может быть, что это фантазия писателя, при этом нежизненная, неправдоподобная. Но бывает и так, что жизнь сталкивает тебя с таким явлением, что ни в каких книгах не встретишь такого. Оказывается, в одиночном заключении тоже может случиться такое необыкновенное...

Это было в январе 1944 года. Прошло более полутора лет моего одиночного заключения. Принесли мне книгу. Точного названия не помню. Книга о древних архитектурных памятниках. Интересная книга. Много полезного можно было почерпнуть в ней об архитектурных памятниках многих стран, о шедеврах зодчества многих народов. Книга была хорошо иллюстрирована. Перелистываю книгу, рассматриваю фотографии, читаю пояснения и вдруг... не верю глазам... город Карс! Храм Двенадцати апостолов. Что же тут удивительного? Этот храм — ценный памятник древней архитектуры, искусства армянского народа. Но дело в том, что храм был заснят на фоне нашего квартала и на снимке отчетливо был виден наш беленький домик с черными точками окон, тех маленьких окон, которые в детстве казались нам такими большими. Я не сумел сдержать слез. Я бы много дал, чтобы рядом находился кто-то, с кем можно было бы поделиться своими чувствами.

Да, в далеком Тобольске, в одиночной камере я держал в руках книгу, в которой изображен дом, где я родился, где проходили дни моего беззаботного детства. Что с того, что фотограф, когда делал снимок, вовсе не замечал этого дома. Ему нужен был фон, и он выбрал экзотический квартал Чухур-майла...

Невыносимо тяжело, что не с кем поделиться. Сколько воспоминаний вызвала эта книга...

Память перенесла меня в известные не только в нашем квартале, но и во всем городе Красные бани. Непонятно, почему это ветхое, из серого камня и глины здание называлось красным. Значение бань было огромным, выходящим за рамки непосредственного назначения. Бани были одним из «клубов» нашего квартала. Женщины имели привычку ходить в баню утром и возвращаться вечером. Мужья посылали им в баню обед — вкусные национальные блюда «чанах» или «тава», разные яства, фрукты. В бане производились смотрины невесты или жениха, там происходили важные деловые свидания между будущими сватами. Бани были единственно удобным местом, где можно было убедиться, не имеют ли каких-либо телесных недостатков их избранник или избранница.

В бане сплетничали, перемывая кости то тому, то другому. Самые последние новости исходили из бани. Мальчики до 5—6 лет ходили в баню с матерями. Мальчики старше ходили в баню с отцами.

Помню, как-то вечером я пошел в баню, чтобы помочь матери притащить домой банные принадлежности. Мне было тогда 10—11 лет. Вопреки моему желанию, мать раздела меня и повела внутрь, чтобы помыть. Поднялся шум.

— Как ты посмела привести этого кобеля в женскую баню?

Мать оправдывалась, что ребенок еще маленький, ничего не соображает и ничего не случится, если он помоется.

— Да, очень маленький, — издевалась одна, — а может быть голоден, бедняга? Дай я накормлю его своей грудью.

— Маленький! Посмотри, как глазает вокруг. Я выколю ему глаза, — угрожала другая.

Я чувствовал себя очень неловко, но мать не обращала никакого внимания на разговоры и усердно делала свое дело.

Часто появлялась в камере, в моей тоскливой одиночке бабушка — Чичак апла. Моя бабушка имела власть не только в нашей семье, но и во всем квартале. Не будет преувеличением сказать, что она была самым авторитетным человеком в квартале. Часто обращались к Чичак апла, как к главному арбитру:

— Чичак апла, целую твою ножку, не откажи, пожалуйста, поговори с му-

жем, он хочет поехать в Россию, на заработки, как он говорит. Совсем с ума сошел, как же я буду жить одна, без него?

Или:

— Чичак апла, разлад вошел в наш дом, сын хочет отделиться от нас. Это мутит его жена, молодая сука, чтобы ей подохнуть. Мы не можем разделить наши тряпки. Приходи к нам, не откажи, скажи свое слово...

И Чичак апла никому не отказывала... Ее слушались, и много споров она разрешала своим авторитетным вмешательством.

Женщины нашего квартала имели привычку сидеть группами у крыльца с веретенами в руках, со жвачкой во рту. Когда они замечали, что идет Чичак апла, все вставали и почтительно ее приветствовали.

Именитые женщины нашего квартала часто собирались на длинной каменной скамейке перед лавочкой «мук Хачо». Моя бабушка была всеми признанным председателем этого «сеньерен конвента».

Я вспоминал те времена, когда я только-только вступал в жизнь: первые шаги, первые друзья... Тяжелые условия работы в Александропольском подполье во время турецкой оккупации, Сурена Аршакуни, через которого поддерживалась связь между нашей подпольной ячейкой и городской организацией.

Через несколько дней после ухода турок из Александрополя пришел ко мне на Полигоны, где я работал тогда, Сурен Аршакуни.

— Ты бы не хотел перейти на работу в город? — спросил он меня.

— А мне все равно, лишь бы моя работа приносила пользу, — ответил я.

— Значит, я правильно поступил, — сказал он как бы про себя. — Завтра же пойдешь в горком к Гохтунни или Джаллатьяну и получишь направление.

— Хорошо.

— Будем работать вместе.

— Вместе? — удивился я.

— Да, вместе, — сказал он и улыбнулся своей неповторимой улыбкой.

Я не понял значения слова «вместе». Я знал, что Сурен Аршакуни был назначен на ответственную должность заместителя председателя Чрезвычайной комиссии, но не предполагал, что в горкоме партии обсуждался вопрос о мобилизации партийцев на работу в Чека, и Аршакуни назвал меня, тогда еще молодого кандидата в члены партии. Я был удивлен, получив в горкоме направление в Чека. Никогда не представлял себя в роли чекиста.

Это было 2 мая 1921 года.

О том, как я принял председателя Чека Арсена Есяяна за курьера, я уже говорил.

Итак, я стал чекистом. Но еще не совсем... Первое задание — организовать столовую, я выполнил прескверно, хотя Есяян остался доволен.

Мои познания в кухонном хозяйстве оказались настолько ограниченными, что я не предусмотрел многого необходимого, к тому же меня подвели.

Кто-то сказал мне, что знает мастера, который «собаку съел» в этом деле. Я обрадовался. Позвал мастера.

Он не знал, по какому делу его вызывают в Чека, испугался и дрожал от страха.

— Пятьдесят лет живу на свете, но не знаю, где находятся полиция, милиция. Я бедный мастеровой, Егиш никогда, никого...

— Не волнуйтесь, не плохое дело привело вас в Чека. Вы нам нужны как мастеровой, — перебил я его. — Говорят, вы мастер делать кухонные плиты...

— Плиты! — облегченно вздохнул уста Егиш. — Это совсем другое дело. Отменную плиту я могу вам сделать! Такую, что голова закружится.

Уста Егиш приступил к работе. Я, разумеется, никаких советов дать не мог. Он работал, и то и дело говорил: «Такую кухню сварганю, головы потеряете»...

Он смастерил какую-то большую плиту, оставил две ячейки, одну большую, другую маленькую для двух котлов. Сам достал котлы — большой и маленький, установил их в ячейках и наглухо замуровал.

И кухня готова.

Оборудование столовой было нехитрое: установили длинный, наспех сколоченный из досок стол с двумя такими же длинными скамейками по бокам, вот и

вся столовая. Не было предусмотрено приспособление для кипячения воды. Мы не могли не только приготовить чай, но и подогреть воду для мытья посуды. Мытье наглухо замурованных котлов было связано с еще большими затруднениями... Но всех этих недостатков Есяян не заметил, наоборот, когда в установленный срок столовая была готова и Есяян пришел обедать, ему очень понравились и столовая, и обед. Он заглянул на кухню и похвалил меня за оперативность.

— Ваша миссия на хозяйственном поприще кончилась, — сказал он, уходя. — Вы перейдете на оперативную работу.

Впрочем, один человек был очень недоволен нашей кухней. Это наша уборщица — одноглазая Шого, обязанностью которой была мойка котлов и посуды. Каждый раз, когда она бралась за это сложное дело, ругалась на чем свет стоит:

— Чтобы руки отсохли у того идиота, который выдумал эту чертовщину! Какой дурак поставил эти котлы так, что ни с какой стороны к ним не подойти? Это — работа не человека, а вислоухого осла. Правду говорят в народе: «Если бы среди людей не было ослов, осел стоил бы тысячу рублей».

Но почему уста Егиш сделал нам такую скверную кухню?

Выяснилось, что уста Егиш вовсе не печник, а каретник и в городе известен как «каретник Егиш». Он огменно ремонтировал фазтоны, но в кухонном хозяйстве понимал не больше моего. Но почему же он взялся не за свое дело? Это уже свойственное александропольцу хвастовство: «Мы все умеем».

Конечно, мы перестроили кухню, сделали не только приспособление для кипячения воды, но и хорошую духовку, так что можно было печь пироги, было бы из чего.

Шого перестала ворчать, для нее были предусмотрены все удобства...

Чего только не вспоминается в одиночке, какие только курьезы не выхватывает из памяти возбужденный мозг...

Однажды, в воскресный день, после обеда отцу захотелось пива. Он дал мне монету и попросил принести ему бутылку пива. Зажав в руке монету, я побежал. Около фруктовой лавочки я увидел целую гору абрикосовых косточек.

Абрикосовые косточки... Моя слабость. Я мимо них равнодушно не мог пройти, собирал их, разбивал, ел и наслаждался. Отец знал об этом моем пороке, иногда ловил меня на месте преступления, упрекал:

— Как тебе не стыдно собирать на улице грязные косточки, выплюнутые чужими ртами?..

Но ничего не помогало: «При чем тут выплюнутые? Я же их разбиваю и ем ядрышки...» — и косточки оставались моей слабостью. А теперь целая гора косточек, и очень вкусных, я беззшибочно различал их по внешнему виду. Ничего не случится, если сперва разделаюсь с ними, потом пойду за пивом. Набрал полный подол косточек, я нашел два камня, уселся поудобнее прямо на улице и почувствовал себя на седьмом небе... Ух, до чего они были вкусные!..

Я слишком поздно вспомнил, куда и зачем я шел. Поднялся, встряхнулся.. но где монета? Ее не было. Разве можно было найти эту крошечную монетку в толстом слое шелухи? Но я усердно искал ее.

— Что ты делаешь, Сурен? — раздался голос над моей головой.

Это был Макар, наш сосед, добрый, веселый человек. Он никогда не обижал детей, и мы его любили. Он был родом из Турецкой Армении, чудом спасся от резни 1895 года и с братом обосновался в Карсе. Брат женился, но жена его не захотела стирать «чужие портки», и Макар ушел от брата, жил один.

— Чем ты занят, Сурен, что ты делаешь?

— Деньги ищу, дядя Макар.

— Какие деньги?

Я рассказал о моем несчастье.

— Ну ладно, не горюй, Сурен, встань, пойдем, что потеряно, то потеряно.

Он взял меня за руку, повел в ближайший трактир, купил две бутылки пива.

— А теперь пойдем к твоему отцу, — сказал он.

Конечно, дома очень волновались: «Куда делся этот мальчишка?»

— Так вот, брат Ованес, — начал Макар, — во-первых, здравствуй, во-вторых, за опоздание получай две бутылки пива, в-третьих, дай мне слово не обижать мальчика.

— Но я не знаю, что с ним случилось.

— Он потерял деньги, больше ничего с ним не случилось.

— А разве можно наказывать ребенка за то, что он потерял деньги? — сказал отец.

Распили пиво, и Макар ушел.

— Подойди ближе, — сердито сказал отец.

Я подошел.

Отец всегда так делал. Никогда сам не гонялся за нами, а требовал, чтобы мы подошли к нему.

— Скажи, как ты потерял деньги.

— Зажал в руке монету и побежал. Бежал, бежал, а потом увидел, что монеты нет там, — соврал я не моргнув глазом.

— Ты мне скажи правду. Ты же знаешь, что за честное признание я никогда не наказываю.

Я это знал хорошо, но почему-то заупрямился.

— Я сказал, как было.

— Скажи мне правду, как ты потерял деньги и что делал так долго?

Я молчал.

— Ты косточки собирал?

— Нет, — ответил я глухо и посмотрел куда-то в сторону.

— Ты смотри мне в глаза и скажи правду.

— Нет, — сказал я упрямо, стараясь смотреть ему в глаза.

Отец влепил мне пощечину, потом вторую, третью. Он избил меня.

— Это тебе за обман, понял?

Но почему отец так уверенно утверждал, что я ел косточки? Откуда он узнал это? Я не учел, что у меня в углах губ были следы косточек, рубашка вся грязная от них...

Вот впрорхнула в мою одиночку Роза, подруга моего детства. Мы были одноклассники, и когда нам было 10—11 лет, мы были уверены, что любим друг друга на всю жизнь.

Когда в альбоме Розы робким ученическим почерком я написал, что «люблю Розу до гроба», она в нижнем углу этого же листка приписала: «я тоже», загнула угол и сверху написала: «Тайна, не читать».

Огненно-рыжие волосы Розы, бесцветные ресницы на толстых красноватых веках, рыжие брови, круглый красный нос, маленькие глаза, кожа вся в веснушках казались мне верхом красоты.

Роза была моя соседка, мы виделись каждый день. По утрам я гордо провожал ее до Марииинской прогимназии, чтобы, не дай бог, никто ее не обидел, а потом шел в свою школу.

Мы часто устраивали детские спектакли у нас во дворе, разыгрывали сценки из сказок. Если я был царем или царевичем, а во всех сказках были цари и царевичи, Роза обязательно была царицей или царевной.

Другая соседка, Грануш, протестовала против такой монополии.

— Почему роль царицы обязательно должна играть Роза? Я тоже хочу быть царицей, мне это больше подходит, чем этой рыжей ведьме. Ночью увидишь ее во сне. — испугаешься. Ей больше подходят роли Бабы-яги или злой ведьмы, — говорила Грануш.

Я не терпел Грануш за то, что она говорит такие слова в адрес моей красавицы Розы. А Роза не обращала никакого внимания на слова Грануш.

— Собака лает, ветер носит, пускай злится, сколько хочет, — уверенно говорила она.

Но над нашей любовью неожиданно сгустились тучи. Родители Розы решили переехать в другой город.

— Роза, это правда, что вы отсюда уезжаете?

— Да, правда. Сегодня папа сказал, что через неделю уедем.

— Роза, а как же мы?

— Я сама не знаю...

Неделя быстро пролетела, завтра они уезжают.

— Роза, знаешь что, давай выходи сегодня ночью на крыльцо и мы будем смотреть друг на друга так долго, чтобы хватило на десять лет, хорошо?

— Хорошо, если не засну, то выйду.

— А ты не засыпай. Пускай все уснут, а ты нет. Лежи с открытыми глазами, тогда не уснешь. Кто из нас раньше выйдет, тот и будет ждать вот на этом камне. Я буду лежать с открытыми глазами, чтобы не уснуть.

— Хорошо, Сурен, я тоже.

После вечернего чая нас, детей, погнали спать. «Буду лежать с открытыми глазами, — решил я, но передумал: — Нет, это не годится, у мамы привычка, перед тем, как уйти к себе, проверять детей — все ли спят, не раскрылись ли? Она поправит одеяло, поцелует нас и уходит к себе. Нельзя, чтобы она увидела меня с открытыми глазами. Лучше я притворюсь спящим». Я закрыл глаза, а когда открыл их... было ясное солнечное утро. «Ой, что я наделал, как теперь покажусь Розе, что я ей скажу?..»

Я быстро оделся и вышел во двор. В доме Розы шла лихорадочная работа. Выносили вещи на улицу, упаковывали, сколачивали ящики, кричали, шумели.

Вот и Роза показалась. Она вышла, посмотрела в мою сторону, опустила глаза, отвернулась. «Обижена, еще бы, я же свинья, что наделал», — подумал я. Но надо же подойти к Розе, что-то сказать, извиниться.

— Роза, ты почему не смотришь на меня, я хочу сказать...

Она не дала мне договорить:

— Я виновата, Сурен, но знаешь, сама не знаю, как это получилось... Я же лежала с открытыми глазами... Ты, наверно, долго ждал, да? Ты прости меня, я же не нарочно... Сегодня никак нельзя нам ссориться, еще раз прошу, прости меня.

Вот, оказывается, что. А если так, то почему мне не сыграть роль пострадавшего героя?

— Конечно, не нарочно, но разве можно так? Всю ночь я ждал, посинел и продрог, а ты, бессовестная, дрыхла в свое удовольствие...

— Ну ладно, Сурен, мне очень стыдно, но нам никак нельзя ссориться, ну скажи, что ты меня прости.

Уехала.

Прошли годы.

В 1932 году я работал в Тбилиси. Там я познакомился с переводчиком Иосифом Парсамяном. Мы сблизились и наше знакомство перешло в дружбу.

Однажды Иосиф пригласил меня к себе домой.

— Пойдем, я познакомлю тебя с моей женой, увидишь моих детей.

Пошли.

Иосиф открыл дверь своим ключом, и мы вошли в коридор. Из комнаты выскочила девочка лет трех, с радостным криком «папа, папа», бросилась к отцу, но увидев чужого дядю, застеснялась и спряталась за отца. Мы вошли в комнату. Женщина, лицом к стене, что-то перебирала на диване. Она была так увлечена, что не заметила нашего прихода.

— Познакомься, Роза...

Женщина повернулась к нам.

— Роза, ты? — вырвалось у меня.

— Сурен, боже мой, какими судьбами?..

И мы бросились друг другу в объятия.

Иосиф стоял удивленный.

— Вы знаете друг друга?

— Молчи ты, это моя первая любовь, — сказала Роза, — понимаешь? Моя первая любовь!

— Ах вот оно что, так-так! Значит, своими собственными руками я привел домой первую любовь моей жены и бросил в ее объятия? Найдется ли на свете второй такой осел, как я? А что мне делать, Роза, укладывать чемоданы, да?

— Что хочешь, то и делай, а мне не мешай.

Вот так мы встретились с Розой через двадцать лет. То, что я узнал ее, не удивительно. Ее своеобразная наружность не изменилась. А как она почти сразу узнала меня?

В одиночной камере тобольской тюрьмы я часто думал о Розе и Иосифе. Я не знал, как сложилась их судьба, не коснулся ли их страшный шквал 1937 года...

Много, много раз навещал меня в моей одиночке священник нашей церкви Тер-Корюн.

Он был деревенским мальчиком по имени Саркис. Его отец и мой дед близко знали друг друга. Как-то отец Саркиса привел его в наш дом и, обращаясь к дедушке и бабушке, сказал:

— Брат Минас, сестра Чичак! В вашем доме много девочек, а мальчиков только двое. Я привел Саркиса к вам, пусть он будет у вас третьим сыном. Я не хочу, чтобы он остался таким же неграмотным человеком, как я. Пусть воспитывается у вас, отдайте в школу, пусть вырастет человеком.

И Саркис остался у нас.

Моя бабушка полюбила его, смотрела за ним, как за родным сыном, вырастила. По окончании школы в Карсе Саркис поехал в Эчмиадзин, поступил в духовную академию, окончил ее, сделался священником, выбрал себе имя Тер-Корюн, вернулся в Карс и стал священником нашей церкви святой Богородицы.

Это был красивый человек, всегда подтянутый, хорошо одетый. Семья у Тер-Корюна была большая: пять дочерей и два сына. В одну из дочерей — Карине — был влюблен Егише Чаренц, обессмертивший ее в своих стихах.

Высказывания Тер-Корюна не всегда подходили к его положению священника.

— Принадлежность к другой нации, к другому вероисповеданию не имеет никакого значения, — говорил он к примеру, — и, если кто-нибудь из моих дочерей полюбит человека другой нации, другого вероисповедания, даже татарина, я не буду иметь ничего против.

Моя бабушка возмущалась до глубины души:

— Как тебе не стыдно? Как твой язык поворачивается говорить такое? Как это можно, чтобы дочь христианина стала женой неверующего басурмана?

— Неверующих нет, мать, — объяснял Тер-Корюн. — Человек в первую очередь должен быть человеком. А то, что он будет верить не в моего Христа, а в своего бога, это его дело. С настоящим человеком моя дочь будет счастлива, независимо от того, кто он — армянин или русский, еврей, татарин, курд...

Одна из дочерей Тер-Корюна заболела острозаразной болезнью. Моя бабушка пошла навестить ее, но Тер-Корюн не пустил ее в дом.

— Нет, мать, спасибо, что ты пришла, но я тебя не пушу в дом, болезнь дочери заразная, а у вас в доме куча детей.

Бабушка была глубоко оскорблена.

— Я никогда больше не переступлю твой порог. Болезнь — в руках бога, если он захочет, запишись хоть за семью замками, болезнь тебя найдет, а если бог не захочет, то спи с больным в одной постели, зараза тебя не возьмет.

— Нет, мать, бог богом, а наука наукой. Мою дочь лечит врач, а не бог. Что касается моего порога, то ты еще много раз перешагнешь его и будешь самой желанной гостьей в нашем доме.

— Тебя нельзя пускать в церковь, ты не имеешь права носить рясу, ты еретик! — вынесла свой приговор бабушка.

Во время эпидемии холеры в Карсе община решила отправиться пешком в Александрополь за иконой святой Богородицы и молиться перед ней, чтобы она избавила народ от холеры.

Тер-Корюн восстал против этого. Он говорил:

— Нельзя допустить, чтобы такая масса людей в такую жару, по такой пыльной дороге шагала 70 верст туда и столько же обратно. Эпидемия вспыхнет с новой силой, а икона божьей матери ничем не поможет.

Возбужденная толпа хотела закидать его камнями...

Установилась Советская власть. Оба сына Тер-Корюна стали коммунистами, дочери вышли замуж за коммунистов. Все они уговаривали его отказаться от сана.

— Нет, слишком поздно, — говорил Тер-Корюн, — я должен был сделать это до революции. Я не сделал, это моя ошибка, а теперь поздно, подумают, что я лицемер, подлизываюсь...

Этот человек всю жизнь не верил в бога и умер священником.

Воспоминания, воспоминания...

Не оставлял меня в моей одиночке одиноким и наш учитель армянского языка и литературы, а также по закону божьему Сарибек Меликсетян. Очень хмурый человек. Мы никогда не видели на его лице улыбки.

Как-то на уроке закона божьего Меликсетян рассказал нам легенду о переселении евреев в страну Ханаан под предводительством Моисея, который волшебным посохом ударил по морю, море разделилось на две части, открылась дорога, евреи прошли по ней и попали в страну Ханаан.

По окончании рассказа он спросил:

— Все ли понятно?

Я поднял руку.

— Все понятно, господин учитель, только одно непонятно. Ведь у Моисея была волшебная палка, почему же он сразу не применил ее, когда бедные люди умирали от голода и болезней, ждали «манны небесной». Неужели такой недогадливый был этот Моисей, а ведь он пророк...

Меликсетян очень рассердился.

— Это не твоего ума дело, а за такие слова я влеплю тебе двойку по закону божьему, тебя за это выгонят из школы, тогда все тебе будет понятно.

Но он только угрожал. Неизменная пятерка по закону божьему красовалась и на этот раз.

Шел урок грамматики. Меликсетян обращается к классу:

— Кто может составить предложение, в котором было бы прилагательное?

Сосед по парте Агаси Алаян поднял руку.

— Скажи, Алаян.

— Сидящий рядом Сурен Газарян есть черный осел, — выпалил Алаян.

Класс хохочет.

— Назови прилагательное.

— Черный, господин учитель.

— Выходи к доске.

Учитель обращается ко мне.

— А ты, Газарян, можешь составить предложение, в котором было бы прилагательное?

— Да, господин учитель, без черных. Стоящий у доски Агаси Алаян есть белый осел.

— Назови прилагательное.

— Белый, господин учитель.

— Ты тоже выходи к доске.

Я стал рядом с Алаяном.

— А теперь выйдите из класса, змеиные отродья, я не намерен держать здесь ослов — ни черных, ни белых!

Нам только этого и надо было... Огороды рядом, мы весело направились туда полакомиться морковью и капустой...

Мы были очень удивлены, когда узнали, что наш учитель, этот хмурый, никогда не улыбающийся человек, — автор смешных и популярных фельетонов, часто появлявшихся в юмористическом журнале «Хатабала» за подписью «Лудильщик Маркар».

Узнав это, мы стали гордиться нашим учителем.

Наша собака, огромная рыжая дворняга, почему-то прозванная нами Пудель, виляя хвостом, часто приходила ко мне, садилась на пол, устремляла на меня свои умные глаза, тихо скулила...

Шла первая мировая война. Турки развернули наступление, захватили всю Западную Армению, перешли границу 1914 года и подошли к Карсу. Паника охватила город. Мой дядя заранее подыскал квартиру для нашей семьи в Александрополе; но отец медлил с переездом. Авось прогонят турок, надеялся он. Но когда турки стали занимать городские форты и вот-вот должны были хлынуть в город, отец нанял какую-то грузовую машину, а времени для сборов уже не оста-

лось. В машине устроили постель для моей бабушки, погрузили самое необходимое из вещей, все остальное оставили.

Оставили также корову и нашу любимую собаку Пуделя... Когда мы, дети, узнали, что собаку не берем, подняли вой. Но отец, уступая требованиям бабушки, категорически заявил:

— Такую собаку, как Пудель, мы везде найдем, а в машине нет места.

Мы сквозь слезы просили:

— Такого, как Пудель, нигде не найдем, он хороший, умный, заберем с собой...

Но ничего не помогло.

А Пудель все понимал. Он беспокойно шнырял вокруг машины, тыкался в нас носом, лизал...

Машина тронулась с места. Пудель последовал за ней. Он бежал за машиной до тех пор, пока мог, а потом, обессилив, лег посреди дороги, посмотрел на удаляющуюся машину и завыл...

Наши сердца разрывались, мы горько плакали.

Вдруг отец попросил остановить машину и обратился к бабушке:

— Так нельзя, мать, это же живое существо и понимающее. Как-нибудь поместимся. — И... позвал Пуделя. Пес с трудом поднялся, собрал все силы и подбежал к машине. Отец помог ему подняться в машину. Пудель просто обезумел от счастья. Лизал нас, скулил...

Бабушка тоже осталась довольна:

— Ну ладно, настоял на своем, теперь сиди спокойно, — мягко упрекнула она пса и погладила Пуделя по голове...

Итак, я не один в моей одиночке. Я разговариваю с моим детством, ко мне приходят люди, с которыми меня сводила жизнь, и в их обществе я отбываю мое одиночное заключение...

«ТВОРЧЕСКИЕ» ЗАНЯТИЯ

Но какие бы экскурсии я ни совершал в прошлое, все равно возвращался в свою одиночку. Как бы я ни планировал время, оно текло очень медленно. Прогулка в тобольской тюрьме продолжалась один час. Она все же разбивала день. Когда выводили на прогулку, соблюдали все предосторожности, чтобы, не дай бог, я вдруг не увидел живого человека. Здесь тоже раз в десять дней полагалась баня, выписка книг, выписка и получение продуктов из ларька. В одиночке обыскивали так же часто, как и в общих камерах. Было смешно и унижительно, когда после обыска в камере предлагали раздеться догола и, обыскав одежду, тщательно осматривали голое тело, все «подобающие» и «неподобающие» места.

Декадными процедурами я стал измерять время. Три раза сходишь в баню месяц долой. Писал и заявления. Правда, чем дальше, тем меньше, но писал. Понемногу убеждался, что никакого толка от этих заявлений нет, все чаще вспоминал слова Петровского и Бессонова о том, что если нами займутся, то в худшую сторону.

В банный день полагалась стрижка. Стригли сами надзиратели. Я скучал по бритве, по чисто выбритому лицу, но в тюрьме нельзя бриться, бритвой можно порезаться. Стригли под машинку. Голову стричь обязательно, а бороду по желанию. Это тюремное правило натолкнуло меня на мысль отрастить бороду. Часто я смотрел на себя в зеркало. Я не оговорился. Чайник с водой — хорошее зеркало в камере. Я уже привык к этому чужому лицу с остриженной головой и отросшей бородой, к этому каторжанину «с грустными глазами недорезанных армян», как говорил Бессонов.

Впервые посмотрев на себя в это тюремное «зеркало», я отвернулся. «Неужели я такой?» Потом стал привыкать к этому лицу, и мне казалось, что я такой же, каким вошел в тюрьму. Вот только отрастить волосы и побрить бороду, и все войдет в норму. Борода моя росла, стала волнистой, с проседью. Роскошная борода. Я стал привыкать к этому бородатому человеку в чайнике и не замечал, как он страшен. Подхожу к чайнику, снимаю крышку, а бородач тут как тут. Я здоровался с ним, спрашивал о его здоровье, самочувствии. Кто скажет, что я те-

герь один? Хочется поговорить с живым человеком — подхожу к чайнику и беседую. Это вошло в привычку. Надзиратели часто смотрели в «глазок», видели меня разговаривающим с чайником, но не обращали на это никакого внимания.

Бородач мне нравился чем дальше, тем больше, и я решил, что уже не расстанусь с бородой. Увы, мне не удалось вынести ее из тюрьмы. Но об этом после.

Однажды меня вызвали и сфотографировали. Обычно после фотографирования следовал этап, но время шло, а этапа не было. Тогда я понял причину фотографирования: для тюремного дела нужна была моя фотография с бородой.

Как-то в прогулочном дворике я нашел небольшой гвоздик. Незаметно для надзирателя поднял его и принес в камеру. Теперь у меня есть орудие производства и я могу заняться другим делом. В течение нескольких дней я точил гвоздь о койку. В условиях постоянного наблюдения через «глазок» это дело довольно сложное. Но, как говорится, голь на выдумку хитра. Полулежа на койке, маскируясь книгой, будто читаю, я тер гвоздь о бока железной койки. Острый гвоздь может заменить нож. А что с ним делать? Как уберечь от обысков? У меня была в камере зубная щетка с костяной ручкой. Я решил изготовить костяную иглу. Работа была тяжелая, кропотливая, к тому же требовалась большая осторожность, чтобы мое занятие не было обнаружено, чтобы мой «инструмент» не угодил в руки надзирателей, а сам я в карцер. Но мне некуда было спешить. За несколько недель я срезал полоску с зубной щетки. При очередных обысках одни не обращали внимания на мою щетку, а другие требовали объяснения: «Почему она такая?»

После того, как полоска была срезана, началась другая работа. Надо было тщательно отшлифовать, заострить один конец, придать форму иголки. Когда и эта работа была окончена, начался самый трудный этап работы — пробить ушко. Но как? Сначала надо было поработать над гвоздем, чтобы из ножа сделать шило с очень острым концом. Несколько дней пошло на это. Теперь этим шилом надо просверлить ушко. Эту операцию под одеялом делать невозможно, надо применить новую, более удобную форму маскировки — книгу...

Много ушло времени на изготовление иголки. Не помню сколько, но очень много. Если бы изделие оценивалось количеством потраченного на него времени, эта костяная иголка была бы самой дорогой в мире, она стоила бы тысячи рублей.

Я обладатель иголки. Теперь надо найти ей применение. У меня возникла мысль промережить салфетки — одну маме, другую Спартаку, третью Майе. Материал для этого есть. Можно вырезать из портянок. Нитки я умею делать самые хорошие. Из ниток мы делали «ножи» для резки хлеба. Каждый раз при обыске такие «ножи» отбирались. Почему? Какая логика? Что опасного в обрывке нитки? Но как только обыскивающие покидали камеру, новая нитка уже была готова.

Я приступил к мережке салфетки. Я прятал ее в матрац, а иголку — на полу в углу. Самое безопасное место. Вернувшись однажды из бани, я увидел, что вся постель заменена. Матрац, одеяло, подушка — все. Уплыла моя салфетка. Ну что ж, возьмемся за новую. Я еще не приступил к мережке новой салфетки, как услышал разговор в коридоре. Надзиратель повышенным голосом говорил кому-то:

— Я же вам сказал, что иголка занята. Как освободится, дадим.

Ни в какой тюрьме иголки в камеру не давали. Оторвется пуговица на рубашке, скажешь надзирателю, он возьмет рубашку и через несколько минут вернет с пришитой пуговицей.

Неужели здесь дают иголку в камеру?

Проверим.

Постучался и вызвал надзирателя:

— Дайте, пожалуйста, иголку починить рубашку.

— Иголка сейчас занята, освободится — дадим.

Прошло некоторое время и надзиратель спросил:

— Вы иголку просили?

— Да.

— Возьмите. Как только кончите, верните.

— Спасибо, а нитки?

— Ниток нет.

— А как же без ниток?

— Не прикидывайтесь, мы знаем, откуда у вас нитки! — рассердился надзиратель и захлопнул форточку.

Я был очень огорчен. С таким трудом изготовленная иглолка не нашла своего применения. Что и говорить, настоящей иглолкой мережить куда приятнее и легче.

Я долго берег мою иглолку. Если бы я ее оставил на полу, то я не лишился бы ее, но почему-то решил, что в матраце будет надежней. Это была ошибка. Матрац сменили, и с ним ушла моя иглолка. Мне было очень обидно. Сколько труда я вложил в нее! А салфетки я все же промережил. Готовые салфетки можно было не прятать. Это уже собственная вещь. Я даже вышил инициалы на них. Затем я взялся за четвертую салфетку и промережил ее для себя.

Три салфетки вышли со мной на свободу, меня хвалили за хорошую работу. А четвертая моя салфетка? Она попала в Казахстан, в Кокчетав. Об этом тоже после.

Однажды мое внимание в камере привлек паук. Обыкновенный серый паук. Он как-то странно метался по стене. Потом я заметил, что по стене спускается другой паук, молочного цвета. Расстояние между пауками все сокращалось, и в пяти сантиметрах друг от друга они остановились. Я наблюдал. Внезапно, будто по команде, оба паука одновременно бросились друг на друга, сцепились. Постепенно инициатива перешла к белому пауку. Он продолжал действовать энергично, в то время как движения серого паука становились слабее и слабее. Наконец, он перестал двигаться. Борьба продолжалась несколько минут, но белый паук после своей победы не уходил. Он вцепился в серого паука и высасывал его. Отбой прекратил дальнейшие мои наблюдения, а на следующий день утром вместо серого паука на стене болталась сухая оболочка, а белый паук исчез.

Как-то в мою одиночную камеру зашел гость. Да, живое существо, маленький мышонок. Вернувшись в камеру с очередной оправки, я увидел, как он спрятался под батареей. Пока дверь закрыта, он куда не может уйти. Я очень обрадовался ему, моему маленькому гостю. Как-никак живое существо. Я осторожно подошел к батарее, а он — шмыг под койку. Знакомство не состоялось. Могло помочь угощение, но день кончился, все съедено, подождем до утра.

Утром я увидел, как он под батареей был занят туалетом. Лапками старательно мыл мордочку. Я отказался от оправки, чтобы не открывали дверь. Получил пайку. Угощение есть. Я положил корочку у батареи, но мышонок спрятался под койку. Я сел на койку, стал наблюдать. По всей вероятности, он был приручен в другой камере. Он не метался из угла в угол. Вышел из-под койки, обнюхал корочку и утащил ее под батарею. Так. Значит, он привык жить под батареей. В тот день я отказался от прогулки. Небывалый случай! Никогда, ни при каких обстоятельствах я не отказывался от прогулок. Зимой в трескучий мороз, летом под проливным дождем я выходил на прогулку. Надзиратели часто объявляли прогулку, когда во дворе шел дождь, в надежде на то, что камера откажется от прогулки, им меньше хлопот. «На прогулку пойдете? На дворе сильный дождь», — говорили они в таких случаях. Они злились, мокли со мной под дождем, но не имели права прекратить прогулку раньше времени.

Мышонок привык ко мне. Еду с руки он не принимал, но и не убегал от меня. В другом месте он не кушал, только под батареей.

В последующие дни, когда я выходил на оправки и прогулки, мышонок куда не уходил. Я с ним разговаривал, просил не покидать меня, обещал делиться с ним едой. Он охотно грыз рыбные кости. Так он жил у меня около двух недель. Но нет ничего вечного. Однажды я вернулся с прогулки и не нашел мышонка. Вероятно, надзиратели заметили его и прогнали.

И снова я остался один.

Еще тяжелее стало одиночество.

Чего только я не придумывал, чтобы убить время! Пришла в голову мысль подсчитать, сколько у меня родственников близких, сколько далеких, сколько из них живы сейчас, сколько нет, сколько из них женщин, сколько мужчин, какие имена больше всех повторяются среди моих родственников...

Бессонница. Берешься считать своих родственников... Но нельзя заставить мысль не перескакивать с одного на другое, для нее нет закрытых камер. Мысль

уносит тебя, ты сбиваешься, теряешь счет и начинаешь все сначала.

Думая обо всем, я сделал для себя открытие, что число семь — «мое» число. В самом деле: я родился 27 числа, поступил в школу в 1907 году и окончил в 1917 году. В седьмом месяце 1927 года умерла моя дочь, сын родился 17 февраля. Майя родилась в июле — седьмом месяце года. Меня арестовали седьмого числа, седьмого месяца 1937 года. И в тюрьме много событий связано с числом семь. Я сидел во многих камерах с цифрой семь: 7, 47, 77, 87, 17... 7 декабря 1937 года наш этап прибыл в Соловки, седьмого числа седьмого месяца меня перевели с острова Муксалма на центральный Соловецкий остров и так далее...

Чем же еще заняться?

Всем известна легенда о шахматах, о том, как «скромен» был изобретатель шахмат, попросивший у индийского раджи положить на первую клетку шахматной доски только одно зерно риса, а на каждые последующие клетки вдвое больше, чем на предыдущей. Вспоминая эту легенду, я подумал: а нельзя ли подсчитать, сколько это будет? Я хочу представить себе реальную величину этого числа, но у меня нет логарифмических таблиц. Остается единственный доступный мне способ — простым последовательным умножением найти числовое значение этой величины. Вся тетрадь была испещрена цифрами. Условно принял за один грамм 20 зерен риса, я стал подсчитывать. Нечего сказать, «скромность» изобретателя заслуживает похвалы. 900 миллиардов тонн риса, по 50 тонн в вагоне — 18 миллиардов вагонов, 180 миллионов составов по сто вагонов в каждом. Если бы мы захотели подождать, пока мимо нас пройдут эти составы, то считая одну минуту на состав, потребовалось бы 340 лет и еще два годика. Этими вагонами можно было бы опоясать земной шар 4500 раз. Поставив в ряд все вагоны, получим расстояние большее, чем от Земли до Солнца...

В «Занимательной алгебре» Перельмана есть задача: в скольких вариантах можно рассадить 12 человек за одним столом? За чем же остановка? Давайте подсчитаем, времени у нас хоть отбавляй. Подсчитал и не поверил себе. Оно равно 12 факториалам, или 479001600. Кто бы мог подумать! Трех человек можно пересадить в шести вариантах, шесть человек — в 720 вариантах, а 12 человек, брр, как много...

Книга давно прочитана. Одна книга на декаду. Что можно сделать еще с нею? Мало ли что. Давай подсчитаем, какая буква русского алфавита чаще употребляется. Наверное, первая буква «а», ведь она впереди всех. Ничего подобного. Буква «о» употребляется больше остальных. Что касается последней буквы, то она вовсе не последняя, как мы думаем, она употребляется гораздо чаще, чем ф, х, п, ч, ш, щ, ю, г.

А буква «р»?

Габури Романович Державин имел свое суждение о букве «р». В доказательство он писал стихи, в которых буква «р» не встречается ни разу. Но ведь буква «р» одна из самых «ходовых» букв. Она употребляется чаще многих других «ходовых» букв, как, например, с, п, м, л, б, в, г, д.

Мои тетради заполнены разными такими подсчетами, на которые я тратил время.

Тратил? Нет, выигрывал. Ведь время, потраченное на такую никому не нужную чепуху, уже относится к прошлому, и до срока останется меньше.

Эти мои вычисления привели меня к тюремной администрации. Сдав испитанные тетради, я попросил дать мне взамен новые. Прежде чем получить их, я был вызван к оперативному уполномоченному, и между нами произошел примерно такой разговор:

— Чем вы занимаетесь в камере?

— Не понимаю вопроса.

— Я спрашиваю, что вы делаете, чем вы занимаетесь?

— Чем я могу заниматься? Я бездельничаю и изнываю в одиночной камере, и это вы хорошо знаете.

— Какие иностранные языки вы знаете?

— Турецкий, немецкий.

— А почему в анкете, заполненной вами же, вы скрыли знание немецкого языка?

- Я не знаю, о какой анкете идет речь, я их много заполнял.
- В вашем деле имеется анкета, заполненная в тбилисской тюрьме.
- Тогда я не знал немецкого языка.
- А где вы научились?
- В Соловецкой тюрьме в 1939 году.
- У вас есть учебники в камере?
- Есть один учебник немецкого языка.
- Откуда он у вас?
- Приобрел в орловской тюрьме.
- Каким образом?
- Через тюремный ларек, с разрешения начальника тюрьмы.
- Прочтите, что здесь написано.

Он протянул мне мою тетрадь. Я прочел отрывок какого-то рассказа на немецком языке. Я его выписал из учебника.

Я прочитал, перевел текст и объяснил, откуда он взят.

— А зачем понадобилось вам записывать все это в тетрадь?

— Это я написал диктант.

— Диктант? Кто же вам диктовал?

— Никто. Кто может мне диктовать? Я сам. Я учу текст наизусть, а затем по памяти записываю в тетрадь. Потом я сличаю с книгой, выявляю ошибки. Вот в этом тексте подчеркнута одна ошибка.

Он призадумался и стал перелистывать тетрадь.

— А это что такое?

Это были мои математические «творения».

— Это очень серьезные записи.

Он насторожился:

— Объясните, что за серьезные записи.

— А вы разве не видите, что это такое?

— Вы не задавайте мне вопросов. Вопросы задаю я. Понятно?

— Понятно. И вам должно быть понятно, что в этих вычислениях число два возведено в 64-ю степень.

— Для чего?

— Для того, чтобы определить количество риса. Видите, вот тонны, вагоны, а вот составы...

— Какого риса? Что за чепуху вы мне говорите?

— Вот такой чепухой я занят целый день, чтобы убить время.

— Предположим, вы говорите правду. Тогда объясните, что за записи у вас вот здесь?

Он протянул мне тетрадь и уставился на меня.

На странице тетради была примерно такая запись: а — 98, б — 25; в — 42; г — 20; д — 22; е — 144; ж — 12; з — 17; и — 75; к — 70; л — 43; м — 42; н — 98; о — 150; п — 32; р — 68 и так далее. Был выписан весь алфавит, против каждой буквы — число.

Я улыбнулся:

— Это шифр. Шифр.

— Я не думаю, что вам хочется улыбаться.

— Я тоже так думаю, но что мне остается делать? У вас уже есть определенное мнение, и вы хотите, чтобы я его подтвердил. Я же террорист, вредитель, контрреволюционер. Я знаю два иностранных языка. Почему же я не могу быть шпионом, тем более, что в моей тетради такие подозрительные записи, не записи, а код настоящий! Неужели нельзя из одиночной камеры тобольской тюрьмы, находясь за семью замками, держать связь с иностранными державами? Можно, все можно. Ведь вы вызвали меня потому, что увидели что-то подозрительное в моих записях. Мне смешна ваша наивность, ничем не оправданная подозрительность. Поймите, никакой шпион свои коды не передаст вам своими руками. Ваша подозрительность доходит до абсурда.

— Но вы еще не объяснили, что значат эти записи.

— Это же очередная чепуха. Жди десять дней до очередной книги. Чем заняться в это время? Книга прочитана, больше нечего делать. Теперь надо убить

время чепухой. И я убиваю. Эти записи означают, что на одной странице книги буква «а» встречалась 98 раз, «б» — 25 и так далее.

— И вы, серьезный человек, занимаетесь такими пустяками?

— А что мне делать? Чем прикажете заниматься? Единственное занятие, доступное в камере, это чтение. Но ведь и чтение вы ограничиваете...

— Как ограничиваем? Вы книги получаете?

— Да, получаю. Одну книгу на декаду. Мне непонятна ваша психология. В общей камере вы тоже даете одну книгу на декаду. Этого вполне достаточно, потому что там заключенные меняются между собой. А в одиночке я имею единственную книгу и мне не с кем меняться. Получил, прочел и жди. Дайте мне хотя бы три книги на декаду.

— Я не уполномочен решать такие вопросы, обратитесь к начальнику тюрьмы.

Я попросил у него бумагу и тут же написал заявление на имя начальника тюрьмы.

Новые тетради получил, но не получил ответа на мое заявление.

Через несколько дней я повторил свою просьбу. Не дождавшись ответа, я написал третье заявление. И снова молчание.

Прошла неделя. Опять заявление и опять молчание.

Тогда я написал начальнику тюрьмы пятое по счету заявление и сообщил ему, что если не получу ответа на мои заявления относительно книг, то с завтрашнего дня отказываюсь принимать пищу. На следующий день утром я отказался от хлеба. Это был рискованный и не совсем продуманный поступок. Ведь тогда мы жили впроголодь, организм был истощен, я ослаб, но что сделано, то сделано.

Явился дежурный по корпусу и потребовал объяснения, на каком основании я «игнорирую тюремную пищу».

Я объяснил.

На мой отказ от пищи начальник тюрьмы отреагировал с большим опозданием. Он пришел ко мне в камеру и удивился, узнав о моих заявлениях.

— Так вы говорите, что причина отказа от пищи та, что вы хотите получать не одну, а больше книг? Так, что ли?

— Так.

— И если вы их получите, то вопрос будет исчерпан и вы примете пищу?

— Конечно.

— Вот уж никак не могу понять вас. Вы человек с жизненным опытом, а делаете глупости. Из-за чего, спрашивается?

— Вы это поймете тогда, когда сами очутитесь в моем положении.

— Вам дадут книги без ограничения.

Он сдержал свое слово. Пришла библиотекарьша и заявила, что мне будут даваться книги без ограничения, принесла каталог, и я составил список книг, которые хотел бы получить.

Я не злоупотреблял моей привилегией. Трех-четыре книги на декаду мне хватало.

А дни шли за днями, недели за неделями, месяцы за месяцами.

В одиночной камере тобольской тюрьмы я встретил пятую годовщину моего заключения, затем шестую, и в июле 1944 года — седьмую.

Перешагнул в восьмой год сидения. Если раньше я думал о том, что десятилетний срок нереален, пересмотрят дело и выпустят на свободу, то теперь уже думал о другом: когда отсижу десять лет, выйду ли на свободу?

Семь лет в тюрьме. Спартаку 14 лет. Он ходит, наверное, в седьмой класс. Майке 11. Она должна быть в четвертом классе. Неужели это так? Я часто вижу их во сне, но вижу такими, какими оставил. Я уже забываю их лица. Но какое это имеет значение? Все равно они теперь совсем другие. Я не узнаю их, если увижу на улице... Нет, этого не может быть, узнаю, обязательно узнаю.

Ах, Люба, Люба, что ты сделала? Я ведь не знал тогда, какой страшный приговор она себе вынесла. Я ее упрекал за то, что она умерла. Она не имела права умереть. «Ах, Люба, Люба, как ты могла умереть?» — повторял я часто.

Я забывал лицо моей матери, но ее ясные, задумчивые глаза помогали восстанавливать весь ее облик. Я все время считал ее годы. Она не знала точно, сколько ей лет, но мы определили, что она родилась в 1875 году. Значит, когда я выйду на свободу, ей исполнится 72 года. А это много или мало? Проживет ли она столько? Я стал вспоминать всех старух-родственниц. Много было таких. Значит, и моя мать может дожить до этого возраста. Я не знал тогда, что мои расчеты напрасны, что матери уже нет в живых...

Все больше и больше сказывалось недоедание, я уже забывал, что такое сытость. Ведь бывало когда-то так, что на столе остается пища, а ты уже не хочешь есть, остатки еды убирали со стола. Нет, этого не могло быть, чтобы со стола убирали остатки еды! Чтобы в тарелке, скажем, оставались несъедобные куски мяса или рыбы? Чепуха. Рыба вся съедобная. Вся. С чешуей, костями, жабрами, плавниками. От костистой рыбы, что изредка давали в тобольской тюрьме, ничего не оставалось. Все съедалось полностью. Все.

Угнетающе действовала могильная тишина, особенно промежуток времени после ужина и до отбоя, и после, в длинные бессонные ночи.

Какую надо было иметь силу воли, чтобы не сойти с ума? И откуда только бралась эта сила воли? Откуда присутствие духа, контроль над собой?

Я часто вспоминал мудрую восточную сказку. Единственный сын богача был мот, кутила и бездельник. Отец понимал, что после его смерти он пустит на ветер все состояние и останется нищим. Он позвал сына и сказал: «Сын мой, я скоро умру и ты станешь полным хозяином моих богатств. Я оставляю тебе вместе с моим богатством вот эту шкатулку. Как видишь, она имеет два ящичка. Когда ты почувствуешь себя в зените славы, открой вот этот ящичек. Но я знаю, что ты промотаешь все свое состояние и останешься нищим. Когда тебе станет очень тяжело, вспомни эту шкатулку и открой вот этот ящичек. Дай мне слово, что ты исполнишь эту мою последнюю волю».

Сын усмехнулся над прихотью старика, но пообещал.

Старик умер. Сын отдался кутежам, разврату, утопал в роскоши. Однажды он в зените своего счастья вспомнил о шкатулке, открыл первый ящичек и нашел записку: «Это пройдет».

— Дурак, выживший из ума старик! — рассердился он, вышвырнул записку и тут же забыл о ней.

Предсказание старика сбылось. Сын промотал все состояние и стал нищим. Товарищи покинули его. Настал день, когда он нуждался в куске хлеба и никто из его друзей не протянул руку помощи. Он решил, что дальше жить не имеет смысла. Но в самый последний момент вспомнил о шкатулке. Открыл второй ящичек и вынул оттуда вторую записку, которая гласила: «И это пройдет».

— Умный мой старик, — воскликнул сын, — теперь я понял, какое истинное богатство ты мне оставил. Теперь я знаю, что мне делать!

Слова отца влили в него силу, он преодолел трудности, стал работать, стал человеком...

В тюрьме, в моей одиночке, я часто подходил к чайнику, открывал крышку и говорил своему двойнику: «И это пройдет, Газарян, и это пройдет».

Наступила весна 1944 года. Тюремные стены слишком толсты для того, чтобы впустить дуновение весны, но все же весна чувствовалась. В камере становилось светлее, хотя солнце туда не заглядывало. Выйдешь на прогулку и увидишь где-нибудь в уголке прогулочного дворика тоненький стебелек. Молодая зелень. Весна.

Я не знаю, чем руководствовалась тюремная администрация, но в прогулочных двориках уничтожали всякую зелень. Это было общим явлением для всех тюрем, за исключением Соль-Илецкой. Там на это не обращали никакого внимания, и заключенные, пользуясь этим, искали съедобную траву.

В тобольской тюрьме дворики были чистые, зелень вырвана. Однажды мне удалось незаметно для надзирателя сорвать маленький белый цветочек, каким-то образом уцелевший в углу. Я положил его между листами книги, но при очередном обыске у меня отняли эту радость...

Прошла весна, наступило лето. В конце июля 1944 года заключенных тобольской тюрьмы вывели во двор и приготовили к этапу.

Этап!

Он был пятым по счету. Мною овладело тяжелое волнение. Впереди невыносимые условия этапа... Но я вышел из своего склепа, я видел живых людей, разговаривал с ними. Но почему я заикаюсь? Со мной этого никогда не было. В одиночке я часто разговаривал сам с собой, но не замечал, что заикаюсь.

Пока собирали людей и были заняты разными приготовлениями, тюремщики дали нам полную свободу в пределах большого двора тюрьмы. Я искал знакомые лица, с которыми на барже мы ехали в Тобольск, но никого не нашел. Не было Гусейна Алекперова. По всей вероятности, неутешная тоска свела его в могилу. Не было Карклина, но этого можно было ожидать. Он приехал в Тобольск, чтобы доживать там последние дни. Не нашел я также Сикача, который сообщил мне о смерти Гинзбурга...

Наконец, выкрикивая фамилии, построили нас в шеренгу по четыре человека. Каждому заранее было определено место в шеренге. Когда вся колонна была готова, последовало обычное предупреждение начальника конвоя:

— Шаг влево, шаг вправо будет рассматриваться как попытка к бегству. Конвой имеет инструкцию стрелять без предупреждения.

Это хорошо. Значит, не будет машин, нас поведут пешком.

Было раннее, чуть прохладное утро. Под усиленным конвоем колонну вывели из тюрьмы. По деревянным тротуарам узкой улочки старинного русского города мы спускались к реке. Перед нами открылась панорама изумительной красоты. Серебристая гладь Тобола сверкала под утренними лучами солнца. В Тобольске даже в эту пору зелень свежая, молодая. Много было зелени. Она будто радовалась солнечному утру и ласкала глаз. Она росла прямо на улице, между камнями мостовой, между досками деревянного тротуара... По обеим сторонам дороги стояли небольшие деревянные домики. Одни маленькие, выкрашенные, другие ветхие, почерневшие от времени, покосившиеся. Но во всех домах были цветы на окнах, занавески. Хозяйки хлопотали во двориках. Одни не обращали на нас никакого внимания, другие следили за нашим шествием, третьи подносили кончики платков к глазам.

Одна высохшая, сгорбленная старушка кормила кур. Увидев нас, она оставила свое занятие, несколько раз усердно перекрестилась. Губы ее что-то шептали. Бог знает, о чем молилась старушка, что просила она у своего бога или святой богородицы: спасения ли грешных душ страшных арестантов, или чтобы бог избавил ее близких от такой участи?..

Несмотря на ранний час, много было на улице детворы. С криком «Арештанты, арештанты!» они сбегались и крутились около нашей колонны. Угрозы и окрики конвоиров не оказывали на них никакого воздействия. Взрослые держались подальше от нас, но всматривались в каждое лицо. Мы видели кусочек жизни. Мирной, нормальной, обыкновенной жизни, которой когда-то жил каждый из нас.

Неужели страна воюет сейчас? Неужели на полях сражений льется человеческая кровь? Неужели разрушаются города и села? Тобольск был в стороне от всего этого. Он жил своей обычной жизнью. Конечно, это впечатление внешнее. Воевала вся страна, и Тобольск тоже. В каждой семье кто-то отсутствовал: сын, брат, отец, муж... Каждая семья ждала вестей с фронта, писем от близких. Только отдаленность от военных действий не нарушала ритма города, окна не были перекрещены белыми полосками.

Было странно видеть людей, шагающих без конвоиров. Семь лет я не делал шага без конвоира и отвык от этого. Я почувствовал сильную усталость, мне хотелось спать. Я ослаб и еле-еле передвигал ноги. Я не заметил, как отстал от шеренги. Вдруг я почувствовал острую боль в боку. Это конвоир штыком в бок подгонял меня. На мой недоумевающий взгляд последовал окрик:

— Что уставился, как баран, шагай как следует!

И последовала матерщина.

Спуск продолжался. Показалась пристань. Наша колонна направлялась туда, к пристани. На причале стоял красивый речной пароход и на нем солдаты с винтовками. Пароход, конечно, для конвоиров. Но где же наша баржа? Вот поехать

бы на этом пароходе, увидеть берега... Но не мечтай, а то снова получишь штыком в бок.

Нас перебрасывают в другую тюрьму, это ясно. Но куда?

Колонну остановили неподалеку от пристани. Снизу нам видны были серые, мрачные стены тобольской тюрьмы. Она давила на холм, создавалось впечатление, что холм не выдержит эту тяжесть и вот-вот рассыплется сам и провалит тюрьму в тартарары. Недалеко от тюрьмы высилось не менее мрачное сооружение, чем тюрьма — церковь. Даже стремившиеся ввысь золотые купола не могли изменить впечатление, которое получаешь, смотря снизу вверх на эту черную, тяжелую громадину.

Церковь и тюрьма рядом. Обычное сочетание царской ссылки.

Неописуемая радость охватила всех, когда никакой баржи не подали, а произвели посадку прямо на пароход. Не верится, что мы поедем на этом красивом пароходе.

Я оказался в небольшой четырехместной каюте. Иллюминатор выходил на палубу. На палубу выходить не разрешалось, но внутри парохода нам была дана полная свобода. Мы могли заходить в другие каюты, а главное, уборная была всегда открыта.

Пароход тронулся. Поплыли красивые зеленые берега. Какое наслаждение! Пусть продлится этот этап бесконечно! Если бы не тухлая рыба и отвратительный черный хлеб, выпеченный бог знает когда, мы бы вообще забыли, что находимся в заключении.

В каюте нас было четверо. Казанский татарин Хамидулин, учитель по профессии, ослеп в тюрьме и не мог разделить с нами восторг наслаждения природой. Другой — молодой узбек по имени Акрам. Он был осужден на пять лет за дезертирство из армии. Отталкивающая личность. Никакого понятия о чести и совести он не имел, своим положением арестанта был доволен.

— Голова будет цела, — цинично говорил он. — Война кончится, срок кончится, приеду домой, женюсь. Все будет хорошо.

Такова была философия этого человека. Он сидел в одной камере с Хамидулиным, получал денежные переводы и продуктовые посылки. Сердобольный папаша заботился о своем чаде. Хамидулин рассказывал, как он обжирался в камере, не обращая внимания на голодных сокамерников.

Третьим в каюте был украинец без обеих ног. Всю дорогу он ругал тюремную администрацию за то, что никакого внимания не обращали на его предложение «из ничего получать мыло».

— Безмозглые дураки. Такое тяжелое время, в стране нет мыла, а я могу создать его из ничего... А они — ноль внимания.

— Но каким образом можно создать мыло из ничего?

— Это производственный секрет. Вот приедем в новую тюрьму, я снова возьмусь за это дело. Я добьюсь своего.

Он любой разговор сворачивал на галушки, на способы приготовления вкусной еды. Соглашался с нами, что не следует говорить о еде:

— Да, плохо голодному человеку говорить о еде, лучше давайте о другом...

-- и тут же снова о галушках.

На верхней полке Акрам вечно что-то жевал.

Наше наслаждение природой длилось три дня, жаль, так мало...

Очень жаль, что никто не знал, что делается на воле, как идет война, какое положение на фронте.

Мы прибыли в Тюмень. Там нас рассадили в «столыпинские» вагоны и все изменилось. Вся прелесть езды на пароходе осталась позади, а впереди — неприятности тяжелого этапа в неизвестность.

Еще не отъехав от станции, испытали первую неприятность. Наш вагон стоял на платформе перед вокзалом. Возле вагона собралась детвора.

— Эй, ребята, немчуру везут!

Конвоиры гнали их прочь, но они не боялись никаких угроз.

— У-у-у, фашисты, гады... Поганая немчура, попались, да? Сволочи...

Очень хорошо, что наша детвора так полна ненависти к нашим врагам, но до слез обидно, когда эти оскорбительные выкрики направлены не по адресу.

Один сибиряк из нашего купе, старый большевик, участник гражданской войны, не выдержал и во весь голос крикнул детям:

— Ребята, мы не фашисты, мы не немцы, мы ваши отцы и деды, мы ваши старшие братья...

Конвоир приказал ему замолчать, угрожал карцером, но он уже потерял контроль над собой, продолжал кричать. Поспешно его увели, от нас, и мы его больше не видели.

После сонного Тобольска мы увидели лихорадочное биение пульса большой узловой железнодорожной станции. Много народа сновало взад и вперед, и всюду военные, военные, военные.

В четырехместное купе затолкали двенадцать человек. Те же ограничения с оправкой, водой, те же строгости и невыносимые условия.

Наконец-то нашелся человек, сравнительно недавно с воли, который рассказал нам подробно о положении на фронтах, о Сталинграде, о переходе наших войск в наступление, о городах, освобожденных от немецких оккупантов.

Пронесся слух, что нас везут во Владимир, а оттуда в Суздальскую тюрьму, в знаменитый Суздальский монастырь. Наш тяжелый этап продолжался несколько дней. Вконец измученные, издерганные, прибыли к месту назначения. Нас ожидали «черные воронки». Они доставили нас во Владимирскую тюрьму.

Мы услышали тяжелый ляг открывающихся ворот.

Владимирская тюрьма проглотила нас.

Высадили нас в небольшом дворике, и начались формальности приема. Принимающего нас начальника я узнал. Это был начальник орловской тюрьмы. Тогда у него на петлицах было два прямоугольника, а теперь он носил погоны подполковника.

Очередь дошла до меня. После обычного опроса я был передан надзирателю.

Медицинского осмотра не было. Надзиратель повел меня в один из корпусов и ввел в большую камеру. 17 коек было в этой камере. Посредине стоял огромный стол с двумя скамейками по бокам. Все было вбито в бетон. У дверей — бочка-параша.

— Это хорошо, — сказал я вслух. — Кончилось мое одиночное заключение. Я выбрал себе койку и стал ждать сокамерников.

ВЛАДИМИРСКАЯ ТЮРЬМА

Итак, за семь лет пятая тюрьма. Позади Соловки, Орел, Соль-Илецк, Тобольск. Теперь Владимир. Впереди три года реального срока и... неизвестность.

А где же мои сокамерники? Продолжающееся в коридоре движение прекратилось. Наступила тишина. Это значит, что арестованных уже распределили по камерам.

Принесли один комплект постельной принадлежности, миску, ложку, кружку, чайник. Значит, больше никого не приведут. Значит, опять одиночка. Но зачем же такая большая камера?

Странно. Чувствуется во всем какая-то временность. Не выписывают продукты из ларька, не ведут в баню, нет обхода медицинской сестры, не дают книг.

Через несколько дней зашел в камеру врач, спросил, на что я жалуюсь. Я давно перестал жаловаться на что-нибудь. Я не обращаю внимания на головные боли, которые еще мучали меня. Но в тобольской тюрьме у меня отобрали подушку, и я решил сделать попытку получить ее обратно.

— Это не входит в функции врача. Я не могу подтвердить необходимость иметь свою подушку в камере, — ответил он.

— Однако врач орловской тюрьмы нашла возможным ходатайствовать, чтобы мне в камеру дали мою подушку.

— Действия врача орловской тюрьмы для меня не показатель. У меня своя голова на плечах. Я врач, а не администратор. Я лечу больных заключенных, но не снабжаю их подушками.

— Но вопрос подушки в данном случае относится к вопросу о лечении больного заключенного. Почему вы не хотите облегчить мои страдания? Почему не хотите помочь мне?

— Я не вижу в этом никакой необходимости. Вы хотите жить в тюрьме с комфортом, но забываете, что это не санаторий. Выбросьте эту прихоть из головы.

О чем еще говорить с таким человеком?

Посещение врача положило конец карантину. В тот же день меня повели в баню, а вернувшись в камеру, я увидел, что постель заменена. На столе стоял другой комплект посуды. Даже параша была другая, но такая же большая.

Много раз я просил у дежурных заменить мне парашу, так как я не в силах таскать ее в уборную, но никто не обращал внимания на мои просьбы. Наконец кто-то решил, что в самом деле таскать такую парашу не под силу одному человеку, и распорядился сменить ее.

Новая параша была маленькая, легкая, и я был счастлив.

Итак, я должен жить один в этой камере. Трудно сказать, что тяжелее: маленькая одиночка с давящим сводом или эта огромная камера. Там нет ощущения пустоты, а здесь чувство одиночества усиливается, ты кажешься еще более маленьким, беспомощным.

Пришла библиотечарша. Принесла несколько книг и предложила выбрать из них одну. Я заявил:

— В тобольской тюрьме меня не ограничивали одной книгой.

— А здесь не тобольская, а владимирская тюрьма, и не суйтесь с тем, что было в тобольской тюрьме!

Все пути к дальнейшим переговорам по этому вопросу одним ударом были отрезаны.

По всей вероятности, снова надо иметь дело с начальником тюрьмы. Я написал заявление на его имя и просил вызвать меня.

Через несколько дней он сам явился в камеру.

Поздоровался.

— Вы просили, чтобы я вас вызвал, — сказал он. — Вот я сам пришел к вам. Какие у вас имеются вопросы ко мне?

— Вопросов много, не знаю, с чего начать.

— В таких случаях обычно начинают с самого основного, чтобы его не забыть. Вы тоже поступите так, начните с главного.

Почему-то я начал с подушки.

— Вы меня можете не помнить, нас много, вы одни. Я вас помню, вы были начальником орловской тюрьмы. Вы тогда разрешили мне иметь свою подушку в камере.

— Подушку? А зачем она вам? Разве у вас нет подушки?

Я объяснил, чем вызвана моя просьба.

— Лечить мигрени — дело врача. Ему виднее, чем лечить: пираמידонами или пуховыми подушками. Обратитесь к нему.

— Врачи бывают разные. Я говорил с врачом и получил отказ, между тем, как врач орловской тюрьмы считала, что мягкая подушка помогает лечить мигрень, выхлопотала у вас разрешение, и я получил тогда подушку в камеру.

— Поговорите с врачом еще раз.

— Это бесполезно. Я прошу сделать это вашей властью.

Он записал что-то в блокнот и сказал:

— Я пока ничего не обещаю. Выясню.

— Еще вопрос.

— Я вас слушаю.

— Ваш заместитель по орловской тюрьме Севостьянов, который с нами сходил в Соль-Илецк и там был начальником тюрьмы, как-то вызвал меня и сообщил, что скоро наступит существенное изменение в моей судьбе, что скоро я буду выпущен на свободу и получу возможность где-то работать. По его предложению я даже написал заявление в Военную коллегия Верховного Суда СССР об отмене моего приговора. Не было ли это недоразумением? Ведь много времени прошло с тех пор. Может быть, следует вообще забыть об этом?

— Нет, это не было недоразумением. Что-то намечалось, в списке лиц, подлежащих освобождению, были включены и вы, но потом все это было отменено. Следовательно, надо забыть об этом.

— Еще вопрос. Если вы перелистали мое дело, то наверно видели, какой ценой я добился в тобольской тюрьме разрешения не ограничивать меня одной книгой. Ваша библиотечка и слушать не захотела об этом. Прошу вас, сделайте распоряжение, чтобы давали мне не одну книгу на декаду, а три-четыре.

— Я не знаю, что было у вас в тобольской тюрьме. Я руководствуюсь своими соображениями. Этот вопрос не такой сложный. Я дам команду, чтобы библиотечка приносила вам побольше книг.

— И последняя просьба. Разрешить написать письмо матери.

— Сейчас я не могу разрешить этого. Не имею права. Но обещаю, что как только представится возможность, разрешу. Но в этом нет особой необходимости. Ваша семья знает, где вы находитесь, знает также, что вам разрешается получение денежных переводов и продуктовых посылок.

— К сожалению, я не ожидаю ни денежных переводов, ни продуктовых посылок. Я хочу, чтобы моя мать получила вместо ваших официальных уведомлений одно письмо, написанное моей рукой.

— Я вам сказал, что как только представится возможность, вы это письмо напишете.

— Скажите, почему вы меня держите в одиночном заключении и долго ли это будет продолжаться?

— На этот вопрос я могу не отвечать. Это наше внутреннее дело. Но все же отвечу. Ваше одиночное заключение является прямым следствием приговора по вашему делу. Вы осуждены на 10 лет тюрьмы со строгой изоляцией. Одиночное заключение и есть строгая изоляция. Мне кажется, совершенно излишне объяснять вам это.

— Но я же сидел с этим приговором в общих камерах почти половину моего срока.

— То было мирное время, а теперь война.

— А я считаю, что во время войны мое место на фронте, а не в одиночной камере. Я написал столько заявлений. Почему они остались без ответа?

— Разрешение таких вопросов не входит в мою компетенцию.

— В нарушение правил распорядка тюрьмы информируйте, пожалуйста, что делается на фронтах?

— Такое право мне не дано. Но, если это может вас порадовать, то извольте. Наши дела идут хорошо, наша Родина почти целиком очищена от врагов. Задача наших войск в том, чтобы освободить от немецких оккупантов не только нашу землю, но и всю Европу. Наша победа не за горами, и враг будет добит в своем логове.

Комок подступил к горлу.

— Вы сказали: «если вас порадует»... Вы сомневаетесь, может быть, и не верите, что сообщение о наших победах может порадовать меня. В орловской тюрьме я сидел с такими убежденными врагами Советского государства, как Чайкин и Майоров. Вы, вероятно, помните их.

— Да, я их помню.

— Выходит, что я для вас такой же враг, как Чайкин и Майоров. Между мной и ими вы поставили знак равенства.

— Степень виновности государственного преступника определяется судом и приговором. Все остальное нас не интересует.

— Значит, я изолирован так строго, как опаснейший государственный преступник?

— А как же иначе?

— Вы говорите как начальник тюрьмы и, как у такового, у вас не может быть другого ответа, это я понимаю, но вы же не только начальник тюрьмы, вы прежде всего человек и коммунист. Это дает мне основание заявить вам о том, что эти приговоры и вытекающие из них строгости, изоляции и одиночки не могут из коммуниста сделать контрреволюционера. Чепуха это. Вы должны знать, что я вошел в тюрьму коммунистом, остался коммунистом и, если суждено мне выйти отсюда, выйду таким же коммунистом, каким я вошел в тюрьму. И не только я один. Почти все, по крайней мере подавляющее большинство коммунистов, жертв клеветы и оговора злополучного 1937 года, несмотря на чудовищные страдания,

унижения и лишения остались такими же чистыми коммунистами, какими были до ареста. Я не знаю, но очень возможно, что 1937 год продолжается и по настоящий день, может быть, не в таких масштабах, но продолжается. Над этим вопросом вам, как начальнику тюрьмы, следует подумать.

— Если бы я думал над этим, то перестал бы быть начальником тюрьмы. В моих отношениях с заключенными я **только** начальник тюрьмы и **обязан** быть только им.

— Если даже исполнение обязанностей начальника тюрьмы не согласуется с тем, что вы думаете как человек и коммунист. Так?

— Мы слишком отвлеклись, философствовать нам некогда. Есть ли у вас ко мне другие вопросы? — сказал он, уклоняясь от ответа.

Я поблагодарил его за посещение.

Много раз я задавал себе вопрос: какова причина, что меня содержат так строго в тюрьме? Теперь мне этот вопрос кажется по крайней мере странным, если не смешным. А как же иначе? Ведь я такой же крупный государственный преступник, как Чайкин, как Майоров. Идет война. Все вражеские элементы должны быть обезврежены. Мне больно, что меня и многих таких, как я, принимают за государственных преступников, что государство тратит деньги на наше содержание, держит охрану. Больно и обидно.

Да! Нами уже занялись. Бессонов оказался прав. Занялись именно в худшую сторону. Не знаю, жив ли он, мои предположения о нем самые мрачные, а что касается меня, то я давно уже в одиночке.

Из тобольской тюрьмы я, кажется, еще послал «слезливое заявление» и просил о пересмотре моего дела. Я, может быть, и не верил, что кто-то прочтет мое заявление, растрогается и скажет: «Ах, ах, бедняга, жертва, новый Дрейфус, как это могло случиться? Эй вы, такие-сякие нехорошис, как вы могли так несправедливо поступить с человеком? А ну немедленно отпустите его на свободу, извинитесь перед ним и верните ему его доброе имя!» Наверно, я не верил, что будет так, но все же писал для «успокоения совести».

Теперь, во владимирской тюрьме, я убедился, что писать бесполезно. И прекратил.

В этой большой камере я жил около двух месяцев. Потом меня перевели в другую — в том же коридоре, но маленькую, одиночную камеру рядом с уборной. В тот же день в коридоре началось большое движение, приводили людей. По всей вероятности, в тюрьму прибыла новая партия заключенных и большие камеры заполнялись ими.

Моя новая камера мне понравилась. Я в ней чувствовал себя «в своей тарелке». Потолок был прямой, исчезло ощущение пустоты. Я уже сказал своему двойнику в чайнике, что согласен весь остаток срока провести в этой камере. Из всех одиночек, где я бывал, эта камера была самая лучшая и светлая.

Хотя тюремная администрация сообщала матери о моем местонахождении, но она была в могиле. Никто мне денег не присылал, тем более неоткуда мне было ждать продуктовых посылок. У меня на счету оставалось 30 рублей. Я перестал тратить их. Если Майоров, имея десять тысяч на счету, не тратил ни копейки, то мне простительно, что я эти 30 рублей оставил на всякий «пожарный случай». Я даже перестал курить. Стало еще тяжелее, но ничего не поделаешь. стакан самосада стоил в ларьке три рубля. На мои деньги можно было купить десять стаканов, максимум на один месяц, а дальше? Какая разница, когда прекратить курение, сейчас или через месяц? Первое время страдал очень, но помогла философия обреченного: «На нет и суда нет».

Итак, тянулись дни, похожие один на другой. Впечатления от последнего этапа перешли в воспоминания, чем дальше, тем отдаленнее. А настоящее то же, что в Тобольске. Один сам с собой, со своими мыслями, со своим бородатым двойником в чайнике.

Теперь уже у меня нет никаких оснований сомневаться в том, что я, как государственный преступник, должен отсидеть положенный срок, да и после этого, если меня выпустят на свободу, клеймо преступника останется на мне навсегда. Нет, не навсегда, а до тех пор, пока все это не изменится. Разве можно потерять веру в то, что все это изменится? Разве можно потерять веру в партию?

Нет, нельзя!

И много раз я подходил к чайнику и говорил своему двойнику: «И это пройдет, держись, старина, а то, кто его знает, возьмешь да с ума сойдешь, тогда все будет потеряно...»

ЭЛЛИ КОМАРОВА

Моему желанию не суждено было сбыться.

Камера, которая мне так понравилась, не оказалась последней.

— Соберитесь с вещами.

Окрик надзирателя прервал какие-то очередные мои мысли.

Это было после обеда, в самый короткий день в году, 22 декабря 1944 года.

Меня привели в другой корпус. Небольшое двухэтажное здание из красного кирпича. Снаружи было видно, что окна, и без того маленькие, заложены снизу кирпичом. Небольшие, размером с обыкновенную форточку отверстия закрыты деревянными щитами. Меня ввели в маленькую камеру и захлопнули дверь.

У меня сразу потемнело в глазах, я еле-еле добрался до койки. Это была самая страшная камера из всех, в которых я побывал. Койка у стены вбита в бетон. У противоположной стены небольшой железный столик, рядом железный табурет, все это тоже вбито в бетон. И, конечно, параша. Все.

Низкий свод давит. Вот-вот он опустится на голову. Стены, койка, столик, табурет окрашены в очень темный, почти черный цвет. Вряд ли можно придумать что-нибудь, чтобы сделать камеру еще мрачней.

В этой камере я определенно сойду с ума. Мой «добрый гений», моя сила воли вряд ли поможет. Я почувствовал слабость, голова закружилась, я прилег на койку, закрыл глаза...

Кто-то постучал в стену. Я прислушался. Через некоторое время — снова стук. Из соседней камеры спрашивали:

— Кто вы?

В общих камерах я освоил нехитрую азбуку перестукивания, выдуманную арестантами.

Стук повторился. Из соседней камеры настойчиво спрашивали:

— Кто вы?

Может, это провокация? Может, кто-то из тюремщиков проверяет меня? По- ! дожду до ужина.

Лежу и прислушиваюсь. Эти стуки определенно отвлекли меня, шоковое состояние прошло. Но пока на стук не отвечаю.

Через некоторое время снова:

— Кто вы, почему не отвечаете?

Потом опять:

— Почему молчите, кто вы?

Вот и ужин. Раздачу начали с того конца. Очередь дошла до меня. После меня еще две камеры. Прислушиваюсь. Вот открыли одну форточку. Стук миски. Потом открыли другую.

Все в порядке. Ко мне стучится заключенный.

После ужина стук повторился:

— Кто вы, почему не отвечаете?

— А вы кто? — спрашиваю я в ответ.

— Наконец-то заговорили, и то вопросом. Я Элеонора Комарова, или просто Элли.

— Женщина?

— Вы слышали когда-нибудь, чтобы мужчина носил имя Элеонора? А теперь, может быть, скажете, кто вы?

Я отстучал свое имя.

— Вот и прекрасно, познакомились. Я не спрашиваю, мужчина ли вы.

— Я это сделал от неожиданности... Вы одна в камере?

— Да, одна. Ведь камера одиночная. Я думаю, что вы тоже один.

— Да, я тоже один.

- Давно сидите?
- Восьмой год. А вы?
- Я тоже. Выходит, мы оба из «урожая» 1937 года.
- Вам удобно перестукиваться?
- Да, очень удобно. Я сижу на койке, укрыта одеялом, передо мной книга, руки под одеялом, будто читаю. Слежу за «глазком». А вы?
- Я тоже. Но я лежу, а не сижу, и тоже слежу за «глазком». А давно вы в этой камере?
- Три дня назад меня перевели из общей камеры.
- За что сидите?
- Сижу как жена. Я ЧСИР.
- А что это значит?
- Член семьи изменника родины.
- А почему вас держат в тюрьме, да еще в одиночке?
- Действия тюремной администрации не всегда согласуются с логикой.
- К сожалению, это так. А кем вы были до ареста? Кто ваш муж?
- Муж был военный, я артистка. Оперная певица.
- У вас колоратурное сопрано?
- Как вы угадали?
- Так. У меня была большая дружба с одной оперной певицей. У нее тоже было колоратурное сопрано. Я вспомнил о ней.
- Почему вы не отвечали мне так долго?
- Я боялся провокации.
- И чутье не подсказало вам, что стучится женщина?
- Признаюсь, нет. На этот раз чутье подвело меня. Теперь для нашего полного знакомства опишите вашу внешность.
- Хорошо. И надеюсь, что то же самое сделаете вы.
- Конечно. Если хотите, можно начать с меня.
- Хочу.

— Вот и хорошо. Мне 45 лет, когда-то носил пышную шевелюру, а теперь голова острижена под машинку. До тюрьмы на висках появились первые седые волосы, а теперь я стал совсем седой. Глаза каштановые, цвета моих волос. Все говорят, что глаза мои очень грустные. Один мой сокамерник шутил: «Скорбь всех недорезанных армян у тебя в глазах». Брови густые с проседью. Нос прямой без горбинки. Губы толстые. Большая борода с проседью. Отрастил я ее в тюрьме. Теперь я привык к моей бороде, и если меня выпустят отсюда, возьму ее с собой на волю. Рост 177 сантиметров. Весил перед арестом 80 килограммов, а теперь, конечно, сильно похудел. Вот, пожалуй, и все. Нет, еще одна подробность: на носу с левой стороны выскочила бородавка и упорно держится. Да, еще: лоб не такой широкий, как у умных людей. Теперь все.

— Вот и хорошо. Теперь я вас отчетливо представляю. Я тоже начну в таком же порядке. Придется начать с возраста. Вы начали с него, специально для того, чтобы узнать о моем возрасте, не так ли? Но это самый большой вопрос для женщины, а я, хотя и заключенная, но женщина, со всеми присущими женщине особенностями. Но ничего не поделаешь. Мне 37 лет, у меня темно-русые волосы, голубые глаза, лоб широкий, хотя это вовсе не значит, что я должна принадлежать из-за этого к числу умных людей. Нос прямой, небольшой, правильный, не курносый, губы тонкие, рот небольшой. В общем, правильные черты лица. Бородавок на носу нет и вообще нигде не обнаружено. О моем росте я понятия не имею: никогда не мерила его на сантиметры. Знаю, что я выше среднего роста. Перед арестом весила 58 килограммов, а теперь значительно меньше. Фигурой бог меня не обидел. Достаточно?

— Вполне. Я вас реально представляю.

В приятной «беседе» мы не заметили, как пролетело самое нудное время — от ужина до отбоя.

Пожелав друг другу спокойной ночи и приятных сновидений, мы легли спать. Следующий день начался с пожелания друг другу доброго утра.

— А теперь моя очередь спрашивать, не так ли? — постучала Элли.

— Я готов отвечать.

— Нет, вопросов я задавать не буду, вы сами расскажите о себе. Начните с детства.

Я рассказал ей подробно о себе, о моем аресте, о положении семьи, о смерти Любы, о детях, все, что знал из писем, которые получал из дому. Много рассказал о моей матери. Элли сделала вывод, что я очень люблю свою мать и боюсь за нее.

— Да, я очень люблю свою мать, — подтвердил я. — Больше всего я боюсь, что не увижу ее. Ей почти 70 лет. После смерти жены на ней такая огромная забота, выдержит ли? Переживет ли это трудное время?

— Я люблю, когда взрослые люди нежно и любовно говорят о своих родителях. Пусть ваша мать живет долго-долго, и будем надеяться, что она дожидается вас, — пожелала Элли.

А моей матери в это время не было в живых.

Элли тоже много рассказала о себе. Ее детство было беззаботным, счастливым. Она была единственным ребенком обеспеченных родителей. Еще девочкой побывала за границей — во Франции, Бельгии, Англии. Хорошо помнит Париж, Лондон. Любит Париж — веселый, жизнерадостный город, не любит Лондон, хмурый, туманный. Она рано вышла замуж. Ей было тогда 17 лет. Родилась дочь. Ее назвали Норой. Во-первых, это часть имени матери, во-вторых, Элли очень любит Ибсена и его героиню. Нора тоже была единственным ребенком. Муж Элли был арестован сразу же после того, как были расстреляны Тухачевский, Якир и другие военачальники. Элли была арестована в августе 1937 года. О муже она ничего не знает, полагает, что расстрелян. Сама получила восемь лет. В августе 1945 года кончается срок ее заключения, но не знает, выйдет ли она на свободу. Сперва она содержалась в одном из женских лагерей, но недавно ее перевели в тюрьму, сначала в общую камеру, а потом в одиночку. Она не может понять, чем вызваны строгости по отношению к ней, тем более, что сроку осталось считанные месяцы. Но она знает, что пока идет война, из мест заключения никого не освобождают. Она знала в лагере многих женщин с пятилетним сроком. В 1942—43 годах они отсидели свой срок, но никого не выпускали на свободу.

— Теперь понятно, почему вас держат в одиночной камере, — постучал я. — На это есть основания.

— Какие?

— А как же, еще ребенком вы гуляли по границам. Вы же готовый шпион прямо с пеленок.

— Я и не подумала об этом. Ведь правда, какой-нибудь «бдительный» дурак мог так и рассудить...

Дочь Элли, Нора, тоже в 17 лет вышла замуж, и тоже за военного.

— После замужества Нора стала какая-то странная, я об этом сужу по ее письмам. Она раньше писала мне теплые, хорошие письма. Приятно было сознавать, что есть на свете человек, который тебя любит и ждет. Я уверена, что мужа моего нет в живых. Конечно, его расстреляли. У меня кроме дочери никого нет на свете, и она мое единственное утешение. После того, как она вышла замуж, ее будто подменили. Вначале еще написала несколько сухих строк, а потом вовсе прекратила писать, не отвечала на мои письма. О муже ничего не писала, кроме того, что он военный.

— А может быть, вам не давали ее письма?

— Нет, в лагере этого не было, письма получали все. Когда у Норы родилась дочь, об этом радостном событии она мне сообщила двумя сухими фразами. Нет, тут что-то другое. Может быть, муж у нее попался тугодум, не понимает, что к чему, заморочил голову девочке, и она теперь стесняется своей матери-арестантки и черт его знает, что думает обо мне, о своем отце...

Так вошла в мою арестантскую жизнь Элеонора Комарова, или просто Элли.

Наши перестукивания сделали жизнь совсем иной. Вопрос, как убить время, был снят с повестки дня. Мы не замечали, как проходило время. Мы не замечали ни полумрака в камере, ни давящего свода, ни мрачных стен. Большую часть времени мы были заняты перестукиванием. Мы принимали все меры предосторожности, чтобы наши «переговоры» не были обнаружены. Нас могли разлучить. В случае опасности сейчас же давали условный сигнал. Мы делали все для того,

чтобы сберечь нашу тайну, зная, как она дорога для нас обоих. Мы не были так многословны, как я описываю сейчас. Постучишь две-три буквы — слово понятно, постучишь два слова — понятна вся фраза... После отбоя мы ложились, но не спали и еще долго очень тихо перестукивались...

Как-то Элли спросила:

— Вы играете в шахматы?

— Да, играю, — ответил я.

— Давайте сыграем.

— Как? — удивился я.

— Очень просто. Ходы будем перестукивать и записывать в тетрадь, а играть будем «не глядя на доску». Вы «вслепую» не умеете играть?

— Когда-то мог, но не знаю, смогу ли сейчас довести партию до конца.

— Тогда можно сделать так. Нарисуйте в тетради шахматную доску, «рассставьте» условно фигуры и по мере того, как сделан ход, сотрите и нарисуйте на той клетке, куда пошла фигура. Это облегчит ориентировку.

— Попробовать можно.

Начали играть. Сделав ход, я «передвигал» фигуру, то есть стирал ее резинкой там, где она стояла, и рисовал на новой клетке.

Между прочим, не следует думать, что у нас в камере была резинка. Нет. Ею служил хлебный мякиш. Потом эта «резинка» съедалась.

Элли очень хорошо играла в шахматы, и первую партию я ей проиграл. Но вторую выиграл.

Так в наш обиход вошли шахматы. Играли не спеша, с перерывами, часто откладывали партию на завтра. Играли весело, шутливо. Это нас отвлекало, но мы никогда не забывали, что надо зорко следить за коридором, за «глазками» на наших дверях.

Читали мало, не было времени.

Однажды Элли предложила:

— Давайте сыграем партию, но с условием.

— Каким?

— Победенный должен выполнить одно требование победителя.

— Если, конечно, это выполнимо в наших условиях.

— Вполне.

— В таком случае согласен, хотя я и не знаю, что я могу потребовать от вас, если выиграю.

Начали играть. Мне было интересно проиграть. Что могло быть выполнимо в наших условиях? Но я проиграл помимо моего желания. Элли очень энергично провела партию, и, наконец, я простучал:

— Сдаюсь на милость победителя.

— Вот и хорошо. Теперь будьте добры выполнить одно мое желание.

— Какое?

— Вы проиграли мне вашу бороду и, пожалуй, усы.

— Бороду и усы? Не понимаю, зачем они вам...

— Воля победителя такова: в очередной банный день вы обязаны начисто остричь вашу бороду. Усы тоже.

— Но чем же моя борода и мои усы мешают вам? — удивился я. — Если бы вы видели, какая она роскошная, моя борода...

— Не хочу. Даже самой роскошной бороды не хочу. Когда я хочу представить вас в моем воображении, борода мне сильно мешает. Лезет в глаза человек со стриженной головой и большой бородой. Словом, арестант, каторжник, что в книгах рисуют.

— Но я арестант и есть.

— Это ничего не значит. Не хочу, и все! Вы должны быть хозяином своего слова. Будьте добры, оставьте вашу бороду в бане в первый же банный день. Он не за горами. Завтра нас поведут в баню. И усы.

— Право на вашей стороне, ничего не поделаешь.

Я мог бы, конечно, после бани, не выполнив обещанного, постучать Элли и сообщить ей, что я снял и бороду и усы, но я этого не сделал.

Когда после бани я вернулся в камеру и посмотрел на себя в чайник, то не

узнал себя. Я очень привык к моей бороде, а теперь из чайника на меня смотрело другое лицо, худое, с впалыми щеками. Глаза будто стали еще грустнее.

Я постучал Элли:

— Воля победителя выполнена. Борода и усы начисто острижены. Я посмотрел в чайник и не узнал себя.

— Вот и великолепно, молодец. Теперь ваша борода не будет мешать мне представить вас даже с шевелюрой. Ведь она подрастет.

Арестант привыкает ориентироваться, что происходит в коридоре.

Я обратил внимание на то, что те же мужчины-надзиратели выводили Элли в баню.

— Неужели мужчины наблюдают за вами в бане? — спросил я.

— Да, мужчины, — ответила она. — При них раздеваемся, при них моемся, при них одеваемся.

— Но это же издевательство!

— Да, издевательство, согласна с вами. В первое время я сопротивлялась, отказывалась при них раздеваться, плакала, но все было напрасно. Теперь я привыкла и не обращаю на них никакого внимания. Среди надзирателей есть такие нахалы, что глаз не отведут, когда женщины при них раздеваются и моются. Это им доставляет удовольствие, бессовестные скотины. Но есть и такие, которые сами стесняются, отворачиваются, стараются не смотреть, даже уходят. Вообще надо сказать, что над нами, женщинами, больше издеваются, чем над вами, мужчинами, — продолжала Элли. — Когда я находилась в лагере, однажды прибыл этап из Закавказья. Вы не можете себе представить, какому издевательству подверглись женщины из этого этапа. Этап состоял в основном из грузинок и армянок. Были старенькие женщины, пожилые, средних лет и совсем молоденькие девушки. Все они были наголо острижены.

— То есть как? — не выдержал я.

— Да вот так, начисто, под нулевой номер.

— Какой ужас!

— Да! Вы представляете, что за ужас — остричь женщине волосы. Вы сами знаете, какие красавицы ваши кавказские женщины. Но до чего они были изуродованы! Какой садист придумал такое издевательство над бедными женщинами?

Спустя несколько лет я узнал подробности этого гнусного дела. Рахиль, жена моего товарища Лазаря Осипова была одной из тех наголо остриженных женщин.

Рахиль потом рассказала об этом. Большую группу женщин, в основном грузинок и армянок, в тбилисской тюрьме готовили к этапу. Повели их в баню сразу всей камерой, около 200 человек. Когда женщины разделись и приготовились мыться, в баню ворвалась группа уголовников с машинками для стрижки в руках. Они стали хватать женщин, чтобы остричь. Женщины отчаянно сопротивлялись, кричали, плакали. Уголовники ругались площадной бранью, применяли силу. Поднялся страшный шум, женщины истерично вырывались. Надзиратель говорил, что напрасно они сопротивляются, открыл другие двери и показал другую партию женщин, которые уже одевались.

Все были наголо острижены.

Мы продолжали сопротивляться, рассказывала Рахиль. Среди нас была жена секретаря ЦК ЛКСМ Грузии Георгобнани, красавица Тамара, с роскошными волосами до пят. Она отчаянно сопротивлялась.

В это время вошел один пожилой надзиратель, успокоил женщин, обратился к ним и сказал глухим голосом:

— Сестры мои, вам не стыдно унижаться? Вы потеряли своих мужей и детей, вы все потеряли, а теперь убиваетесь из-за волос... Пусть остригут, не унижайтесь.

Он говорил спокойно, но видно было, что он и сам волнуется и едва сдерживает слезы.

Подействовало.

Молча повиновались произволу.

Вышли из бани наголо остриженные...

Быстро прошли девять дней, проведенных в этой камере. Последний день 1944 года был на исходе. Мы устроили вечер воспоминаний, рассказывали друг другу, кто как встретил последний Новый год на свободе, вспоминали отдельные эпизоды жизни... После отбоя мы легли, но не спали, устроили «встречу Нового года», произносили тосты, «осушали» бокалы, желали друг другу здоровья и свободы.

— Ну, Элли, за ваше здоровье! Я даже не представляю, как я выдержу дальнейшее одиночное заключение без тебя. Но как бы мне ни было тяжело, я искренне желаю тебе свободы и вместе с тем радости и счастья. За вашу дочь, пусть она порадует свою мать, когда ты вернешься к жизни.

Я не замечал, что обращаюсь к ней то на «ты», то на «вы».

— Спасибо, Сурен, за добрые пожелания. А теперь я предлагаю выпить на брудершафт и перейти на «ты». Согласен?

— Конечно, согласен. Но ведь после брудершафта полагается целоваться.

— Ну что ж, как пили, так и будем целоваться. Ведь не можем же мы сломать эту проклятую стену. Будем считать, что мы уже поцеловались.

— Ничего другого нам не остается. Что касается стены, я бы хотел, чтобы ее сейчас не было.

— Да, Сурен, но даже на воле человек не всегда в состоянии осуществить свои желания. А теперь я должна произнести тост. За твое здоровье, за здоровье твоей любимой матери, за здоровье твоих детей, пусть они будут счастливыми. Я тоже желаю тебе долгожданной свободы, здоровья и счастья. Мы не знаем, где будем завтра и что с нами случится, но где бы мы ни были, в каких бы условиях ни находились, через год, в этот же день, в канун нового года пусть каждый из нас вспомнит этот вечер, эти минуты. Я не знаю, как их назвать. Я забываю свое ужасное настоящее и временами мне кажется, что я вовсе не перестукиваюсь с тобой, а разговариваю. Я не чувствую своего одиночества...

— Я тоже избавился от этого чувства. За восемь лет моего заключения у меня не было такой мрачной камеры, как эта. Когда я вошел в нее, я пережил состояние шока, а теперь совсем не давит на меня этот свод, я не замечаю его, для меня не существуют эти черные стены. Все это потому, что мы всегда рядом. Мы вспомним этот день не только через год, но через многие, многие годы, пока будем живы... Интересно, встречал ли еще кто-нибудь Новый год в такой обстановке?

1945 год вступил в свои права. Дни проходили за днями. Незаметно прошла зима.

12 апреля Элли постучала:

— Поздравь меня, Сурен.

— С чем, Элли?

— Сегодня мне исполнилось 38 лет.

— Поздравляю, милая, желаю тебе свободы, доброго здоровья! Желаю, чтобы ты свою 39-ю годовщину отпраздновала в Симферополе у своей Норы с внучкой на коленях, милая бабушка! Поздравляю и крепко-крепко целую, если, конечно, ты не возражаешь.

— Нет, милый, не возражаю. Спасибо тебе за добрые пожелания. К ним я хочу прибавить еще одно. Я очень хочу, Сурен, чтобы мы встретились на свободе. А ты?

— Да, Элли, когда мы оба окажемся на свободе, мы должны сделать все, чтобы встретиться, но скоро перед тобой откроются двери тюрьмы, а мне еще два года сидеть. Не забудешь ли ты о моем существовании за это время?

— Не будем говорить об этом, Сурен, прожитые нами в этих камерах дни не забудутся никогда. Еще неизвестно, выйду ли я, неизвестно, в какие условия попаду на свободе, но я всегда буду помнить эту камеру, самую ужасную и самую милую из всех. Я буду помнить тебя, наши разговоры, наши желания, нашу «совместную» жизнь. Смешно, правда? Мы еще не видели друг друга, а можем говорить о совместной жизни. Мы живем вместе, питаемся одной пищей, дышим одним воздухом. Всегда вместе и всегда рядом. И... спим вместе, рядом, на рассто-

янии нескольких сантиметров друг от друга. Порой мне кажется, что вовсе нет этой стены, что я слышу твое дыхание, чувствую твое тепло. А ты... забыть!..

До окончания срока Элли оставалось четыре месяца. Мы заранее обменялись адресами. Она обещала сразу же написать моей матери и не терять с ней связи до моего освобождения.

Наконец настал долгожданный день. С утра мы уже десятки раз попрощались. Вдруг Элли подала сигнал прекратить перестукивание. Я напряг слух. Я услышал, как открылась дверь камеры Элли. Пройдя мимо моей камеры, Элли кашлянула. Я ответил кашлем.

Все... Элли ушла. Я услышал, как захлопнулась дверь на лестницу.

Сразу все изменилось. Свод надвинулся на меня. Темные стены стали еще чернее. Опустошенный, я свалился на койку и закрыл глаза.

Второй раз в этой камере я думал о том, что сойду с ума.

Сколько прошло времени? Заснул ли я или был занят своими мыслями, но я не слышал никакого движения в коридоре. Но что это? Стучат в стенку:

— Сурен, слышишь?

— Это ты, Элли?

— Да, я. Вот и моя свобода.

— Расскажи, Элли, милая.

— Вызвали и объявили мне под расписку, что я должна содержаться в тюрьме до особого распоряжения. Когда я спросила, как надо понимать это «особое распоряжение», стали меня успокаивать, что это временное явление. Как только получат распоряжение из центра, меня выпустят на свободу.

— Но это же ужасно, Элли! Как ты восприняла все это? Как твоё самочувствие сейчас?

— Собственно говоря, я ждала этого и до некоторой степени была подготовлена. Я уже говорила тебе, что из лагерей никого не выпускали, но там мотивировка была конкретная: «Выпустим, когда кончится война». Я переживаю, конечно, все же теплилась надежда, что выйду на свободу, а теперь надежда рухнула... А формулировка резиновая — «до особого распоряжения». Когда же кончится война?

— Эта формулировка вызвана тем, что от нас тщательно скрывают все, что связано с войной. Я думаю, что под «особым распоряжением» надо понимать «когда кончится война». Но когда она кончится? Что за мука это неведение! А ты не спросила, что делается на фронтах?

— Спросила, но он ничего не ответил по существу, только невнятно буркнул, что наши дела хороши.

Мы не знали тогда, что три месяца тому назад страна торжествовала победу над гитлеровской Германией. Мы ничего не знали.

И это от нас скрывали.

— Мне разрешили написать письмо дочери, — сказала Элли. — Сами предложили и сказали, что и впредь разрешат мне писать, учитывая, что я сижу сверх срока. Я ведь давно ничего не писала. Посмотрим, что ответит мне Нора... Ну, милый мой, скажи честно, ты рад моему возвращению?

— Это трудно выразить, Элли. Наверное, я ужасный эгоист, если могу радоваться, что ты снова рядом. И все же я больше огорчен, чем обрадован. Я бы очень хотел, чтобы ты вышла на свободу. Это ведь очень тяжело, сидеть и не знать, когда наступит конец.

Итак, наша жизнь продолжалась по-прежнему.

27 августа я постучал ей:

— Теперь твоя очередь поздравить меня, Элли. Сегодня я именинник.

— Поздравляю, мой дорогой, крепко тебя целую! У меня теперь одно желание: все мои пожелания и добрые слова передать тебе лично, не через эту стену.

Через некоторое время Элли постучала, что готовит мне памятный подарок и как только он будет готов, она мне передаст.

— Какой подарок? — удивился я. — И каким образом ты его передашь мне?

— Я придумала. Это не так уж сложно. Во время оправки я оставлю подарок в уборной, и ты возьмешь. Я вышиваю тебе кисет для табака.

— Вот это здорово, Элли. Ради такого случая мне надо снова начать ку-

ритель. Я бы сделал это с удовольствием. Что касается способа передачи, то придумано гениально.

Но передача кисета через уборную связана с большими затруднениями и риском. Кроме того, кисет до его готовности надо было провести через многие обыски. После каждой камеры уборная тщательно проверялась надзирателями. Как правило, камеры пускались в уборную не подряд, а по камере с разных концов. Администрация тюрьмы принимала все меры для того, чтобы предотвратить общение заключенных. Но можно было рассчитывать на тех надзирателей, которые не всегда соблюдали эти правила. В уборной всегда находилась большая полая тряпка. Не все надзиратели заглядывали под эту тряпку после каждой камеры. Элли задумала оставить кисет под ней.

— Я тоже могу передать тебе памятный подарок, Элли. Я сам промережил салфетки, четыре штуки: маме, детям и мне. Я свою салфетку передаю тебе. Хорошо?

— Замечательно. Если эта салфетка попадет ко мне в руки, то я никогда с ней не расстанусь. Значит, ты умеешь и мережить?

— Мужчины никогда не могут так тонко вышивать, как женщины. У них получается грубо. Я не составляю исключения. В общем, когда получишь, справедливо оцени мою работу, с некоторой скидкой на то, что она выполнена женщиной.

Во время дежурства подходящего надзирателя, когда оправка началась так, что я должен был пойти в уборную раньше, чем Элли, я простучал ей, что оставлю салфетку в уборной под тряпкой.

Разумеется, я вышил на салфетке и инициалы Элли.

Операция прошла удачно. Элли взяла салфетку. Она сказала, что салфетка промережена по всем правилам искусства мережки, что никакой скидки на то, что мережка сделана руками мужчины, не следует делать.

Элли уже вышила кисет. Несколько дней мы ждали удобного случая для передачи. Наконец, и дежурный был подходящий, и оправка началась со стороны Элли. Она постучала мне, что оставляет кисет в уборной. После Элли пошел я. Как только надзиратель закрыл за мной дверь, я кинулся к тряпке, нашел что-то объемистое, и быстро сунул в карман. Все в порядке.

Вернувшись в камеру, я сейчас же постучал.

— Все в порядке, Элли, сейчас посмотрю, потом постучу.

В тряпочку было завернуто два кисета. Один большой, из грубого материала. На нем была вышита дымящаяся трубка. Кисет до отказа наполнен табаком. Другой кисет маленький, с мастерски вышитым изящным орнаментом. К кисету была приделана с большим вкусом выполненная головка девушки. В кисете была книжечка курительной бумаги и коробок спичек. Я тут же скрутил папиросу и с неописуемым удовольствием затянулся. Голова закружилась от наслаждения...

— Ты молодчина, Элли. У тебя золотые руки...

После этого Элли еще три-четыре раза передавала мне табак. Я упрекал ее за это, но ничего не помогало. А дни текли за днями, текли быстро, незаметно. Мы говорили, говорили, играли в шахматы, мечтали, спорили об искусстве, о литературе, о многом...

— Любишь ли ты музыку? — спросила Элли однажды.

— Я мало понимаю в музыке, мне трудно ответить на этот вопрос.

— Любишь ли оперу, и есть ли среди опер такие, которые ты любишь больше остальных?

— Да. Таких опер три. Первая — армянская опера «Ануш». Но она мне нравится по чисто субъективным причинам. Армянские народные мелодии очень близки моему сердцу. Вторая — «Чио-Чио-Сан» и третья — «Аида».

— Вот видишь, как ты попался. Когда человек ничего не понимает в музыке, для него нет любимой и нелюбимой музыки. Между прочим, я тоже люблю Пуччини, а Баттерфляй — моя любимая партия.

А время шло... Снова наступила зима. «Особое распоряжение» для Элли еще не наступило.

22 декабря мы отметили первую годовщину нашего знакомства.

Затем мы вместе встретили новый 1946 год.

— Ты не суеверен? — спросила Элли.

— Нет.

— Я тоже нет. А ты знаешь, есть такая примета; если в новогоднюю ночь напишешь свое желание на бумаге и проглотить бумагу, то желание осуществится. При этом надо успеть написать желание и проглотить бумагу между первым и последним ударами часов. Я хочу проделать это.

— А как? Откуда у тебя часы?

— Ты будешь моими часами. Ты же знаешь темп ударов часов, вот и стучишь по стене двенадцать раз, за это время я должна успеть выписать мои желания и проглотить бумагу. Успею — значит желания осуществляются.

— А какие у тебя желания, нельзя ли узнать?

— Дело в том, что нельзя. Если рассказать кому-нибудь об этих желаниях, то магическая сила пропадет.

— Ладно, пусть будет так. А когда начать удары часов?

— Вот я возьму бумагу и карандаш и дам тебе знать.

— Откуда у тебя бумага?

— Какой дотошный! А книжечка папиросной бумаги для чего?

Элли дала сигнал. Я ударил по стене 12 раз, стараясь соблюдать интервалы ударов часов.

— Ура, успела, проглотила бумагу на одиннадцатом ударе, значит, мои желания должны исполниться! А ты не хочешь попробовать?

— У меня сейчас только одно желание, но оно такое, что если даже я проглочу пуд бумаги, все равно оно не осуществится.

— Тогда ты можешь сказать мне о твоём желании, если не хочешь колдовать.

— Могу, конечно, Элли, милая! Я хочу к тебе. К тебе хочу! Я бы хотел, чтобы этой стены не было между нами.

— Ну что ж! Вообразим, что ее нет. Для воображения нет никаких стен, замков, тюрем и одиночек.

Так мы второй раз встретили Новый год.

Как-то Элли постучала, что на прогулочном дворике, где она гуляла, на заборе нарисовала маленькую кошечку.

— Это будет мой знак. Если нас разлучат, то я буду рисовать такие знаки, и ты будешь знать, что я в тюрьме.

Однажды, гуляя по дворiku, я заметил на заборе нарисованную кошечку, сидящую на своем хвостике. Под этим знаком я поставил букву «у».

Я постучал Элли:

— Если ты увидишь под своей кошечкой «у», значит, я увидел твою кошечку прежде, чем надзиратели стерли ее.

Разумеется, надзиратели после каждой прогулки проверяли дворики и если обнаруживали какие-нибудь надписи, уничтожали.

Мы второй раз отметили день рождения Элли, а затем и мой.

Элли сидела год сверх срока, а «особое распоряжение» так и не последовало...

В ноябре 1946 года нас разлучили совсем неожиданно. Я помню даже, на чем прервалось наше перестукивание. Элли говорила о Маяковском.

— Маяковский так же поэтичен, как Пушкин и Лермонтов, он музыкален, и придет время, когда смелый и понимающий композитор переложит его стихи на музыку...

Она не достучала. Передала сигнал прервать перестукивание. Я не обратил на это внимания: ведь каждый день по несколько раз то я, то она подавали сигналы о превращении перестукивания, когда надзиратель смотрел в «глазок» или... да мало ли что могло случиться.

Вдруг в коридоре перед моей камерой раздался женский кашель. Пока я сообразил, что это Элли, пока ответил кашлем, было уже поздно. Но я не слышал, открылась ли дверь на лестницу. Неужели Элли перевели в другую камеру?

А может быть, обыск? Иногда делали так: нас выводили в другую камеру, там производили личный обыск, а камеру обыскивали без нас.

Нет, не похоже на это, уже много времени прошло. Элли взяли из этой камеры, и мы не успели сказать на прощание даже двух слов друг другу.

Будет напрасным усилием описывать мое состояние после случившегося.

Я искал в прогулочных двориках кошечку Элли. Несколько дней я ничего не находил. Но однажды в одном из прогулочных двориков я, наконец, заметил кошечку и рядом «47». Сразу же поставил «у». Так, значит, Элли находится в этом же корпусе, в камере 47. Это же рядом. Сколько раз я проходил мимо этой камеры, и чутье не подсказало мне — за этой дверью находится Элли. Возвращаясь с прогулки, я кашлянул перед этой камерой. Ответа не было. А может быть, ее уже нет там. На следующий день, выйдя на прогулку и возвращаясь с нее, я снова кашлянул и услышал ответный кашель. В прогулочных двориках появились другие кошечки Элли, и каждый раз, увидев их, я ставил свою букву «у». Так как надзиратели часто менялись, то мой кашель перед камерой долго оставался незамеченным. Но вот появился новый надзиратель, пожилой человек низкого роста с бегающими глазами и длинными тонкими усами. Против обычновения он дежурил несколько дней подряд в нашем коридоре. Я продолжал кашлять каждый раз, проходя мимо камеры 47, и слышал ответный кашель Элли.

Однажды надзиратель спросил:

— Почему у вас начинается приступ кашля перед камерой 47?

— При чем тут камера 47? Я же не могу сдерживать кашель, когда хочется кашлять.

— Вы не думайте, что имеете дело с дураками. Я вам очень советую прекратить это дело, иначе можете навлечь беду и на себя, и на того человека, ради которого вы кашляете, и который вам отвечает.

К счастью, на следующий день его сменили.

Камера Элли пустовала недолго, но я не знал, кого там поселили. Я не делал попыток перестукиваться с новым соседом.

И снова Новый год постучался в дверь. Третий раз я встречаю Новый год в этой камере. На этот раз без Элли.

Оставленные на «всякий пожарный случай» деньги пригодились. Я выписал стакан самосада, полкило моркови и немного лука. Принесли мне продукты, и я увидел, что на мой счет поступили деньги — 50 рублей.

Я терялся в догадках. Кто это мог сделать?

Я «накрыл новогодний стол» и, как договорились с Элли, думал о ней, вспоминал нашу встречу два года назад. А она сейчас совсем недалеко и тоже думает о том же.

Я вспоминал о последнем Новом годе на свободе, когда мы вступили в злополучный 1937 год. Благодаря инициативе Павла Петровича Постышева первый раз зажглись новогодние елки во многих квартирах, клубах, школах. Первый раз мы устроили елку нашим детям. Какая была радость для них...

Жизнь славного большевика Постышева также оборвалась в 1937 году...

Если мой срок не фикция, то сегодня последняя встреча Нового года в тюрьме.

Однажды я нашел кошечку Элли, но «почерк» явно не тот. Эта кошечка была корявая, а рядом с кошечкой — «10—1». Понятно. 10 января Элли забрала из камеры 47. Эту кошечку, по просьбе Элли нарисовала ее сокамерница. Я сейчас же поставил «у». Затем и в других местах появились такие же кошечки и рядом «10—1».

Но куда забрала Элли? В другой корпус? Или отпустили на свободу? Неужели «особое распоряжение» поступило? Дай бог, Элли, дай бог, чтобы ты была на свободе!

Итак, даже в условиях строгой изоляции, в одиночном заключении арестант ухитряется узнавать, что делается за дверью его камеры.

В марте 1947 года, когда обычный тюремный день кончился и давно был объявлен отбой, меня вызвали и провели к начальнику тюрьмы. Он предложил мне стул подальше от письменного стола и после нескольких общих вопросов спросил:

— Вы знаете Комарову?

— Да, знаю, хотя я ее ни разу не видел. Она сидела в соседней камере.

— А как вы могли знать, кто сидит в соседней камере?

— Я с ней перестукивался.

— И долго вы с ней перестукивались?

— С первого дня, когда меня перевели в эту камеру и до того момента, когда Комарову забрали из соседней камеры. В общем, без малого два года.

— И ни разу не попались?

— Как видите, ни разу.

— А раньше вы ее не знали?

— Нет, не знал. Я же сказал вам, что я ее не видел.

— Это верно, что вы ее не видели?

— Да, это правда. Я не знаю, какая она.

— Откуда она знает вашу мать?

— Она лично не знакома с моей матерью. Но я же говорю вам, что почти два года мы перестукивались. Она знает многое о моей матери, о моей семье.

— И знает адрес вашей матери?

— Конечно. Я знал, что срок ее заключения кончился, что она продолжает сидеть до «особого распоряжения». Я сообщил ей адрес моей матери, и мы условились, что она, как только выйдет на свободу, напишет ей письмо. Она обещала. Я тоже взял у нее адрес ее дочери в Симферополе, и после выхода на свободу мы должны будем искать друг друга.

Начальник тюрьмы улыбнулся, вытащил из ящика стола бумажку и протянул мне.

— Она выполнила свое обещание и добралась до вашей матери. Читайте.

Это было письмо от Майи. Впервые в жизни я увидел детские каракули моей дочери. От волнения я долго не мог прийти в себя.

— Наверно, не одно письмо писала мне дочь, а я ничего не знаю.

— Да. Многие пишут, но мы не имеем права передавать вам письма. Но это временно, скоро будете получать письма и посылать ответы.

— Но мне вряд ли придется воспользоваться этим, ведь срок моего заключения кончается в июле, и если остаток срока не равняется нулю, то через четыре месяца я должен быть на свободе.

— О каком нуле может идти речь? — возразил он. — Срок есть срок, и точно в тот день, когда он истечет, вы будете выпущены из тюрьмы.

С трудом преодолев свое волнение, я приступил к чтению письма.

Майя писала: «... Папа, мы получили письмо от какой-то мадам Комаровой Элеоноры. Она пишет, что знает тебя, что ты жив и здоров и скоро вернешься. А если ты жив, почему не отвечаешь на мои письма? Напиши нам, пожалуйста, кто такая эта дама и откуда ты ее знаешь...»

Из письма Майи я узнал, что 50 рублей мне прислала Анаида Гюзальян.

— Разрешите мне ответить на это письмо, — обратился я к начальнику тюрьмы.

— Можете. Вот вам бумага, напишите ответ, обязательно пошлем.

Конечно, я не мог сообщить в письме подробности моего знакомства с Комаровой. Пускай наши думают, что я нахожусь в таких условиях, что могу даже завести знакомства с женщинами. Я коротко написал, что Комарова моя хорошая знакомая, и просил передать ей от меня привет. Этим самым я дал понять, что надо поддерживать переписку с ней.

Когда я вышел на свободу, мне передали теплые, обнадеживающие письма Элли, адресованные моей матери.

Судьба занесла Элли в далекий и незнакомый Казахстан, в Кокчетавский район, без паспорта и без права выезда оттуда, а меня в молодой город Рустави с «волчьим билетом» — пунктом 39 на паспорте, лишаящим меня всяких прав и свободного передвижения.

Теперь нас разделяло много тысяч километров. Для нас они и были так же непреодолимы, как те несколько сантиметров, которые разделяли нас в тюрьме.

Мы часто писали друг другу, обменялись фотокарточками. Опасения Элли относительно Норы не были лишены оснований. Элли писала:

«Как я жалею, что поехала в Симферополь повидать свою Нору! Недаром она после замужества так изменилась и перестала мне писать. Виноват муж. Видишь ли, он не захотел иметь дело с врагом народа. Это я враг народа! Обидно, что Нора с ним согласна, но что девчонка понимает? Они не приняли меня. Муж Норы так и сказал мне: «Какая вы мать? В то время, когда вы со своим мужем замыслили ваши темные дела против Советской власти, разве думали о том, что у вас есть дочь и что она может пострадать из-за вас? Нет, вы не мать, вы чужой человек и чуждый. Оставьте мою жену в покое, вам нечего делать здесь». Мне даже не разрешили обнять внучку. Ты представляешь мое состояние, когда, отвергнутая единственной дочерью, одинокая, вся разбитая, доплелась я обратно на вокзал и первым отходящим поездом уехала в свою ссылку. У меня теперь нет дочери. Никого нет на свете, кроме тебя, мой старый и незнакомый, мой далекий и близкий друг».

Тяжело было читать письма Элли.

Одинокая, заброшенная в казахстанскую глушь, она долго не могла устроиться на работу. Все было ей запрещено. Наконец, она получила работу в каком-то клубе, руководила кружком самодеятельности. Существовала впроголодь.

Последние письма Элли были полны отчаяния и безысходности. Почти в каждом из них она писала, что считает излишним такое существование.

Однажды от Элли пришло ужасное письмо.

«... Я не только не в состоянии бороться за жизнь, но считаю такую борьбу совершенно бессмысленной. Для чего жить? Для кого жить? Жизнь для меня потеряла всякий смысл...»

Я старался утешить ее, как мог. Писал, что она неправа, что никогда не бывает так, чтобы жизнь была бессмысленной, что надо набраться терпения, мужества, бороться.

Я писал ей:

«Держись, Элли, не отчаивайся, мы еще вернемся к настоящей жизни, мы еще отпразднуем наше второе рождение...»

Но мои письма остались без ответа.

Наша переписка прекратилась.

Я не написал ее дочери. В этом не было никакого смысла.

Очевидно, Элли, потеряв всякое желание сопротивляться невзгодам, вынесла себе страшный приговор...

ПОСЛЕДНЯЯ КАМЕРА

Считанные дни остались до конца срока. Мною овладела забота: как же я выйду на свободу без галстука? В моих вещах имеются сорочки, а галстука нет. Нет и шапки, но без головного убора можно, а без галстука никак нельзя. Я начал подбирать тряпки, чтобы из них смастерить галстук. В те дни я часто обращался к надзирателям:

— Дайте, пожалуйста, тряпку. Нечем стол вытирать.

Однажды я получил такой ответ:

— Вы что, съедаете тряпки, что ли? Я вчера утром дал вам большую тряпку, куда вы ее дели?

Я ошибся, не учел, что это вчерашний надзиратель. Нельзя было к нему обращаться. Но не могу же я сказать ему, что тряпка, которую он мне дал, не годится для галстука.

— Я случайно уронил ее в парашу и выкинул в уборную.

Поверили, дали тряпку, но опять не то. Из белого тонкого материала галстука не сделаешь.

Но моя настойчивость не прошла даром. Наконец-то я занял подходящий материал и сшил себе галстук. Примерил: хорошо. Теперь нужно скрыть от обычных.

В очередной банный день я попросил надзирателя не стричь мне голову.

— Мне мало осталось. Скоро я должен выйти на свободу, надо же хоть немного отрастить волосы.

— Без разрешения начальства не могу. На этот раз постригу, потом доложу начальнику. Если разрешат, то со следующего раза стричь не буду. Что и говорить, причина уважительная.

В следующий банный день он сказал:

— Голову стричь не будем. Начальник разрешил.

Чем меньше оставалось от срока, тем больше я нервничал и волновался. Я стал очень нетерпелив. Тягостно и медленно проходили дни. Читал мало, не мог сосредоточиться. Элли нет рядом, не с кем поделиться своими мыслями. Я снова начал разговаривать сам с собой. Каждое утро, как только вставал, подходил к чайнику, смотрел в «зеркало», здоровался и говорил: «Ну вот, Сурен, осталось тебе столько-то дней».

Наконец, однажды я сказал моему изображению: «Поздравляю, Сурен, осталось нам сидеть ровно два месяца».

Два месяца. 118 месяцев уже позади. Из трех тысяч шестисот пятидесяти двух дней осталось только 60.

Сегодня банный день. Кроме сегодняшнего дня, еще пять банных дней, и я буду на свободе. А сколько часов, минут? Сколько ударов сделает сердце за эти дни... Давай сосчитаем...

Когда я вернулся из бани, около моей камеры стояли два надзирателя. Они вошли за мной в камеру и, спросив фамилию, предложили собраться с вещами.

— Оставьте только чайник, все остальное заберите.

Меня повели на первый этаж того же корпуса, завели в маленькую комнату и тщательно обыскали. Раздели догола, исследовали по всем «правилам», осмотрели вещи. Наконец, обыск окончен. Мой галстук, спрятанный в бушлате, уцелел. Потом меня повели по коридору и впустили в одну из камер.

— Вот это ваша койка, номер семь, — сказал надзиратель, — указав на пустую койку.

Опять семь. Что за наказание!

Несколько человек окружили меня, и начались расспросы: кто я, откуда, сколько сижу, какой срок и так далее.

Я совсем отвек от людей. Было странно видеть столько человек вокруг себя. Отвечая на вопросы, я сильно заикался.

Все были разочарованы, узнав, что я без нескольких дней десять лет нахожусь в тюрьме и ничего не могу сказать о «новостях дня», которыми они интересовались.

Кто же были эти люди?

Два престарелых генерала, убежденные монархисты. После падения царского трона они эмигрировали в Харбин и активно боролись против Советской России. Полковник царской армии командовал крупным артиллерийским соединением. Октябрьская революция вышвырнула его из страны. Он приютился в Болгарии и там включился в общий фронт борьбы с большевиками. Эмигрант-меньшевик, занимался книжной торговлей в Чехословакии, бывший член ЦК эсеров. Несколько человек были членами буржуазных правительств Латвии, Литвы и Эстонии, также эмигрировали в разные страны Европы после того, как в этих республиках была объявлена Советская власть.

И еще один человек. Донской казак. Он служил полицаем в оккупированном немцами Донбассе, служил им верой и правдой. Махровый кулак, неизвестно каким образом уцелевший. И это фашистское охвостье, предатель, явный враг советского государства отделался странно мягким приговором — пятью годами тюрьмы.

Моим соседом по койке оказался эмигрант-меньшевик Семен Гогиберидзе. Красавец-грузин. Высокий, широкоплечий, со жгучими карими глазами. Он был красив даже с остриженной головой, в наряде арестанта.

Мы разговаривали между собой по-турецки, на недоступном для других заключенных языке.

Гогиберидзе рассказал мне свою историю. В 1924 году он принимал участие в меньшевистском восстании в Грузии и после его подавления эмигрировал за границу. Ему было тогда 19 лет. Он обосновался в Париже, был тесно связан

с меньшевиками-эмигрантами. Там он стал водителем такси и этим добывал средства на жизнь. Так он жил до 1938 года.

Меньшевики, предвидя неизбежность участия Советского Союза в грядущей войне, в 1938 году нелегально направили группу эмиссаров в Грузию с тем, чтобы они подготовили отделение Грузии от Советского Союза. Одним из таких эмиссаров был Семен Гогиберидзе. Его инструктировал сам Ной Жордания.

Гогиберидзе поселился в Турции, в Ардаганском районе, в самой близости от границы и оттуда готовился к нелегальному переходу границы через труднодоступные горы районов Хуло и Кеди Аджаристана. Ему помогли опытные проводники, он удачно перешел границу, поселился в заранее приготовленном для него месте. Совсем недалеко жила его мать. Они не виделись 15 лет, но в целях конспирации Гогиберидзе воздержался от встречи с матерью, а она и не догадывалась, что сын совсем рядом...

Гогиберидзе четыре раза успешно переходил границу, подолгу оставался на территории Грузии, связывал и координировал свои действия с другими эмиссарами, снова возвращался в Турцию, перебрасывал оттуда все необходимое для нелегальной работы...

При очередном, пятом по счету, переходе границы Гогиберидзе был схвачен. Он оказал вооруженное сопротивление, но не смог уйти от пограничников.

В 1939 году Гогиберидзе осудили на 25 лет тюрьмы.

Узнала мать, не вынесла горя, сошла в могилу.

Гогиберидзе много рассказывал о своей сестре. Они фактически не знали друг друга. В 1924 году, когда он эмигрировал, ей было 4 года. Теперь она замужем, живет в Тбилиси, имеет дочь. Неожиданно для Семена сестра, узнав об аресте и осуждении брата, приняла близкое участие в его судьбе, писала ему хорошие письма, посылала деньги, продуктовые и вещевые посылки. Для Гогиберидзе не было ограничений, он получал все.

— Я очень благодарен моей сестре за то внимание, которое она оказывает мне, подвергая себя риску, — говорил Гогиберидзе, — а ведь мы не знаем друг друга, встретимся на улице — пройдем мимо.

Гогиберидзе дал мне адрес сестры и попросил:

— Когда будете на свободе, если вам разрешат поехать в Тбилиси, зайдите, пожалуйста, к моей сестре, передайте от меня самый сердечный привет ей и ее семье и огромную благодарность за все то, что она для меня делает. В письмах мы всегда передаем друг другу приветы, я в каждом письме благодарю ее, но когда это сделает живой человек, совсем другое дело. Моя сестра очень обрадуется человеку, пришедшему к ней с приветом от брата. Когда получу от нее письмо с фразой: «Я вышиваю для тебя кисет и скоро вышлю», буду знать, что вы были у моей сестры.

Я обещал.

В этой камере я совсем упал духом. В чем дело? Просидел столько времени в одиночке, а когда до срока остались считанные дни, меня перевели в общую камеру, посадили вместе с убежденными врагами советского государства. Это была первая камера с таким составом контрреволюционных элементов. Даже Майоров и Чайкин бледнели перед ними. Я решил для себя, что после перевода в эту камеру мне никак нельзя рассчитывать на освобождение. Ведь нельзя же допустить, чтобы общение с такими людьми сделано специально перед самым моим выходом из тюрьмы. Для чего? Какая цель? Какая логика?

А может быть, такой порядок существует в тюрьме? Ведь Элли тоже перед тем, как выпустить из тюрьмы, перевели в общую камеру. Может быть, не все еще потеряно. Поживем — увидим.

Но вот и конец моему сроку: 7 июля 1947 года.

Что принесет мне этот день? Свободу? Дальнейшее заключение на неопределенный срок? Мое волнение дошло до предела.

День только начался. Позади оправка. Получили хлеб, кипяток. Позавтракали. Прошла утренняя поверка. Я нервно шагаю по камере, молчу. Я не в состоянии разговаривать. Прислушиваюсь к каждому звуку из коридора. Жду.

Но ждать пришлось недолго. Сердце учащенно забилося, когда я услышал, что кто-то возится с замком.

За мной.

— Соберитесь с вещами. Все тюремное оставьте, личные вещи возьмите.

— Я готов.

Меня привели в другой корпус и поместили в небольшую камеру.

А вдруг снова одиночка?

Через некоторое время вошел работник тюрьмы и спросил, есть ли у меня на счету деньги, есть ли вещи на складе?

— Да, у меня имеется небольшой остаток денег и вещи. Вот квитанция.

Он взял квитанцию и ушел.

Затем пришел другой работник и потребовал сдать ему тетради.

Потом пришла библиотекарьша и забрала у меня книги.

Да, никаких сомнений: тюрьма производит со мной расчет.

Из тайника бушлата я вытащил самодельный галстук и приложил к своим вещам. Теперь никто не отнимет его у меня.

Вызвали на прогулку. Как обычно, строго охраняли.

Затем принесли обед. Супа вдвое, каши втрое больше обычного. То и другое было съедено добросовестно, а миска облизана.

После обеда в коридоре воцарилась могильная тишина. Никакого движения. Я слышу биение моего сердца. Не могу ни сидеть, ни шагать, ни даже думать. Мысли бегут, не останавливаясь ни на чем.

Надзиратель, как и в других камерах, ежеминутно приглядывается к «глазку».

Я подумал: «Наверно, где-то записано, что меня арестовали в 8 часов вечера, вот и не хотят раньше времени выпустить», — и сам засмеялся над своими мыслями.

Но получилось именно так. Когда меня вызвали в комендатуру тюрьмы, ходики показывали ровно восемь.

После анкетных вопросов комендант сказал:

— До вашего ареста вы жили в Тбилиси, не так ли?

— Да.

— Теперь вам нельзя жить в этом городе. Назовите место, где вы хотели бы жить.

— Но ведь моя семья живет в Тбилиси. Какой другой город я вам назову?

— Семья пусть живет в Тбилиси на здоровье, а вы будете жить там, где вам разрешат. Разве нет других городов в Грузии, кроме Тбилиси?

— Есть, почему нет? Батуми, Сухуми, Кутанси, Гори...

— Ну вот и прекрасно, поезжайте в Гори. Так и напишем, что вы едете в Гори. Согласны?

— Пишите, мне все равно. Если нельзя в Тбилиси, то куда хотите, туда и пишите, это не имеет никакого значения.

— Так и сделаем. Напишем в Гори.

— Только разрешите захватить в Тбилиси хотя бы на один месяц и повидать семью.

— На месяц я не имею права, а 15 дней напишу.

Он написал на листке что-то, передал надзирателю и приказал:

— Сейчас же отнесите капитану Родионову.

Затем обратился ко мне.

— Скоро принесут вам справку об освобождении из тюрьмы, а пока мы с вами закончим некоторые формальности.

Принесли мои вещи.

— Проверьте по квитанции, все ли вещи на месте.

Все было на месте, но в каком состоянии! Все смято, сапоги покоробились. Пожалуй, ничего нельзя будет использовать.

Комендант угадал мои мысли.

— Конечно, вы не можете воспользоваться этими вещами, пока не приведете их в порядок, но не горюйте, мы вам дадим другие.

Дали мне пару тяжёлых солдатских ботинок, брюки из черного молескина и черную сатиновую косоворотку.

Увы! С такими трудностями сделанный галстук остался без применения.

— Головного убора у нас нет, — сказал комендант. — Ничего, теперь лето, вполне можно обойтись без головного убора.

С вещами было покончено. Комендант вручил мне деньги на железнодорожный билет до станции Тбилиси в общем жестком вагоне, затем передал мне остаток моих денег. Затем принесли паек на дорогу. Он был заранее приготовлен и, как обычно при этапах, состоял из черного хлеба и вяленой рыбы.

Когда с этим было покончено, он приказал надзирателю:

— Принесите тот ящичек.

Надзиратель принес и положил на стол небольшой ящик.

— Это вам от начальника тюрьмы, — сказал комендант и достал из ящика консервы, колбасу, масло, сухари, сахар, конфеты.

— От начальника тюрьмы? — удивился я. — Неужели полагается такое угощение заключенному в день его освобождения?

— Это ему виднее. Раз он распорядился, значит, полагается. Вот и ваша справка готова. В ней написано, что вы полностью отбыли срок наказания и едете в выбранное вами место жительства — город Гори Грузинской ССР с правом заезда в город Тбилиси на 15 суток по семейным обстоятельствам. Далее в справке указано, что вы удовлетворены продовольствием до 13 июля. Сейчас в стране карточная система. Как только приедете на место, предъявите эту справку и вам дадут хлебные и продовольственные карточки с 14 июля. Эта справка имеет большую силу. Правда, в ней сказано, что вы после отбытия наказания поражены в правах сроком на пять лет, но пусть это вас не пугает. Это значит, что вы не имеете права ни избирать, ни быть избранным. Но работу вам дадут.

Он торжественно вручил мне справку. Я посмотрел на фотокарточку, приклеенную к справке, и у меня потемнело в глазах.

Странно, каждый день я гляделся в тюремное зеркало и никаких изменений не находил, но карточка... Что за ужас! Неужели я сейчас такой? Да, конечно, ведь совсем недавно, за несколько дней до освобождения, меня сфотографировали. от одного вида можно испугаться.

— Смотрите, больше не попадайтесь, ведите себя так, чтобы к нам не вернуться, — сказал мне комендант.

— Сами понимаете, это не от меня зависит, — ответил я.

Не знаю, дошло ли до него то, что я хотел сказать.

— Ну, желаю вам всего хорошего в жизни, — сказал он на прощание.

— Спасибо за пожелания.

Однокопная пролетка была готова. Положил вещи, сел. Поехали.

Сперва открылись одни ворота, затем вторые, и мы оказались за тюремной стеной.

Свобода!

Какое ощущение!

Надзирателя нет. Могу делать все, что хочу. Могу смотреть на небо, на причудливые облака, и никто не сделает мне замечания. Могу любоваться красотой города, никто не помешает мне. Могу слезть с пролетки и шагать пешком, никто не остановит. Могу поговорить с любым прохожим, спрашивать о чем хочу, — никто не запретит. Но я ничего этого не делал. Я опустил голову и смотрел на свои ботинки, смотрел и ничего не видел. Нет, видел. Видел мою фотокарточку на справке и повторял про себя: «Неужели я такой?»

— Сколько отсидел, браток? — дошел до меня вопрос возчика.

— Вы меня?

— Да, который раз спрашиваю. Плохо слышишь, что ли, или думы одоле-ли? Я спрашиваю, сколько отгрохал?

— Десять лет.

— Батюшки мои, десять лет! А за что тебя так крепко саданули, браток?

— За что? В самом деле, за что? Как тебе сказать? Я хотел Советы перевернуть, вот и саданули.

— Советы перевернуть, говоришь? Ты-то? Понятно. Прошлую неделю я одного хохла возил на вокзал. Он тоже советы перевертывал в 1937 году и 10 лет отбарабанил.

В тюрьме я дал себе слово, что, выйдя на свободу, прежде чем выехать из Владимира, обязательно посмотрю Успенский собор с его знаменитыми фресками Рублева. А теперь это вылетело из головы.

У меня было сильное желание посмотреть на тюрьму снаружи, ведь в стенах этой тюрьмы я провел свыше трех лет. И это вылетело из головы.

Приехали. Лошадка остановилась. Я обратился к дежурной по станции. Она даже не посмотрела на справку. Видно, мой облик был вернее любой справки.

— Не беспокойтесь, первым же поездом Горький — Москва я вас отправлю. Время летнее, может случиться, что в поезде не окажется мест, но я договорюсь с начальником поезда.

Она говорила тепло, внимательно рассматривая меня.

Такое отношение удивило меня.

Успокоенный, я зашел в парикмахерскую, подошел к кассе.

— Стрижка, бритье, компресс, массаж, одеколон, в общем все! — сказал я.

— Десять рублей.

Заплатил, взял чек и сел в освободившееся кресло. Я боялся посмотреть на себя в зеркало. Фотокарточка на справке преследовала меня. Парикмахер, молодая женщина, подробно расспросила меня, кто я такой, откуда и куда еду и так далее. Я отвечал правду. Человеческое отношение ко мне, проявленное дежурной по станции, подбадривало меня. Надо же проверить, что будет дальше.

— Неужели десять лет вы находились в тюрьме? — воскликнула она.

— Все десять и, как видите, жив, здоров и даже делаю попытки прихорашиваться.

— И все десять лет в нашем Владимире?

— Нет, в других тюрьмах тоже, а во Владимире три года.

— Как страшно, господи!..

Очень добросовестно проделав все процедуры, она подошла к кассирше, что-то шепнула ей и вернулась с 10 рублями в руках.

— Возьмите, с вас ничего не причитается.

Я стал протестовать, говорил, что не хочу, чтобы она из своего кармана платила за меня, но мои протесты ни к чему не привели, она сунула мне в карман десятку.

— Хоть вы и арестант, выпущенный из тюрьмы, но, видать, не плохой человек. Хорошие люди тоже попадают в тюрьму, мы это знаем, хотя сами простые люди. Дай бог вам здоровья и удачи.

Несколько пар глаз, полных испуга, удивления, жалости и сочувствия, проводили меня.

Уже второй человек, с которым я столкнулся, отнесся ко мне хорошо и сочувственно. Это и порадовало, и удивило меня.

Скоро прибудет поезд. У билетной кассы появилось объявление: «Билетов нет». Много людей толпилось у кассы, все нервничали, кричали, суетились. Волновался и я: вдруг дежурная забудет обо мне. Но она не забыла. Еще до прихода поезда она подошла ко мне, успокоила и еще раз сказала, что обязательно отправит меня.

Пришел поезд. Суматоха все нарастала. Дежурная подошла ко мне, взяла деньги, принесла билет и предложила следовать за ней.

Мы подошли к начальнику поезда.

— Вот этот человек, о котором я говорила, — сказала она ему.

Пожелав мне доброго пути, она ушла.

Начальник поезда усадил меня в переполненный вагон, помог мне устроиться. Я благодарил судьбу, что есть добрые люди на свете.

Окончание следует

Вардгес Бабаян

Стихи

Перевел Николай Егоров



Блажен, кто смолоду был молод...

А. Пушкин

Как молоды мы были в те года!
И счастья ждали мы в грядущей дали,
любви мы ждали — только навсегда —
всего мы ждали...

Смерти лишь не ждали.

Нежданная, пришла, увы, она,
пришла, как шторм, неуправим и страшен.
Великий дар — нам жизнь была дана,
но и она уже была не нашей.

И бились мы, и гнула нас беда,
мы знали страх, но крест несли мы верно.
Любовь у нас, как сталь, была тверда,
столь яростной была, сколь и безмерной.

А наши мамы щедро свечки жгли
и, как молитву, бормотали в муке:
«Сынок, вернись в предел родной земли,
вернись, пускай безногий и безрукый».

Во имя капельки любви самой
платили морем крови в дни беды мы.
Живые, постарев, пришли домой,
погибшие остались молодыми.

Как молоды мы были в те года!
То было всем, чем мы могли делиться.
Так молодость была стара тогда,
что долго-долго старость наша длится.

ПРОСТОЕ ЖЕЛАНИЕ

Я жить и жить хочу, пока живется,
жить всякою минутою своей.
И слышу я — звучат Шопен и Моцарт,
и вижу — в море пара лебедей!

Не хочется чужим пленяться счастьем,
чужой рукою зажигать свечу.
За всех других я умирал столь часто,
что за себя теперь я жить хочу.

Пришел я не для чуда в мир кипучий,
и жизнь моя — не дело божьих рук.
Хочу я жить, любить, страстями мучим,
как все другие смертные вокруг.
Не петь, когда горюется от боли.
Когда молчится, пусть молчит труба.
За всех других пахал я часто поле,
и за себя хочу косить хлеба.

Не знаю, где удар судьбы однажды
со мной покончит счеты навсегда.
Хотел бы я, как сотоварищ каждый,
познать усладу своего труда.
И не хочу скорбеть, свой путь итожа
в тот зыбкий час, когда придет концу —
пусть все, чем жил и что за век свой прожил,
скользнет улыбкой мирной по лицу.

АРМЯНСКАЯ АРХИТЕКТУРА

Размашистый полет орла
и боль, что душу мне рвала,
и роз улыбки, и рука,
что дарит диво на века,
мечта о свете, крови ток,
оливы молодой росток —
все в образе твоих камней
и в скорбной памяти твоей.

Багряные огни борьбы
и ад скитальческой судьбы,
и веры и надежды прах,
бессмертные и смерть страх,

монастыри, блеск дальних звезд,
неволя, раны, горечь слез —
все в образе твоих камней
и в скорбной памяти твоей.

И жемчуг мыслей, и сердца,
цветы нетленного венца,
Сасуна меч, искрист, упруг,
и серебром сверкнувший плуг,
и жизни стяг, горяч, как кровь,
грядущего и смысл, и новь —
все в образе твоих камней
и в скорбной памяти твоей.

◆
Семя не дало побег,
почва осталась пуста.
Спящей осталась навек
в спящей земле красота.
Малое семя одно —
искра звезды голубой.
Ветром ли унесено?
Крот ли припрятал слепой?
Разве земли в том вина?..
Семенем в почву паду —
спасши ее от сна,
вновь — красотою — взойду.

◆
По горло в воде я, и плещет
мощно за валом вал.
Но мучаюсь, жаждой томимый,
я, словно Тантал.
Как близко надежда на счастье
и на доброту,
и так невозможно исполнить
мне эту мечту!
Все кажется — руку протянешь —
и вот уж вода!
Приходят века и уходят —
я жажду всегда!

Проза

Григор Баласанян

Два рассказа

Перевел Сергей Баласанян

СЛЕЗЫ С УЛЫБКОЙ ПОПОЛАМ

На стене спальни висел деревянный черпак, длинный черпак полевой кухни, с трещиной посередине, словно хотел разделиться на две части, потом передумал, остановился на полпути. Выцветший, выдавший виды черпак. Скольких он накормил в те грозные дни. И воевал тоже как храбрый солдат, ранило вот его.

... Нежданная и желанная встреча. В Киеве. Гарегин шел себе не спеша, углубившись в свои мысли, замороженный великолепной панорамой Крещатика, ровными рядами похожих на букеты каштанов. И вдруг остановился перед одним из прохожих, как вкопанный. Удивленно, не веря собственным глазам, смотрит на него. Вроде и узнал уже, и не вполне еще уверен. В глазах стоящего перед ним — то же сомнение. Неужто он, их Петро? Беспощадные годы сделали, конечно, свое. На месте черных вьющихся волос на его голове открылась светлая полянка. И сколько морщин! Словно нахали на продолговатом лице — справа налево, слева направо. Быки взбунтовались, пару раз поволокли сверху вниз, и лицо превратилось в кусок высохшей от засухи земли... И все равно, даже с исчерченными бороздами морщин лицом это был тот же весельчак и балагур Петро. А глаза по-прежнему искрились синью, как приютившееся на опушке леса и тронутое лучом солнца озеро.

О глазах Петро говорил весь батальон, а девушки из медсанбата так и льнули к нему.

— Глаза у этого бесстыдника прямо ослепляют, — как-то в шутку сказала красавица Шура. — Девчата тянутся к нему как зачарованные. Как кролики к удаву...

— Петро, дорогой, ты ли это?!

Он был батальонным поваром. И сам был славный малый, истряпня его хороша. А как он умел ее преподнести, когда для этого условия были, когда батальон получал передышку от боев.

— Имейте в виду, кто съест эту гречку, самое малое вдвое дольше проживет!
Или:

— Такого борща, ей-богу, нигде больше не найдете!

От его шуток-прибауток солдатская еда казалась вкуснее. Как-то Шура серьезным тоном спросила Петро:

— Такой богатырь, и глаз как у орла, а повар. Ты ж, голубчик, мог быть метким стрелком.

— Чтобы сварить хороший обед, душечка, тоже нужен верный глаз. А я хоть и повар, Шурочка, а таких пташек, как ты, за версту вижу...

Подскочил к ней, обнял и сладко чмокнул в обе щечки и в глаза поцеловал.

— Бесстыжая твоя голова, — улыбулась Шура, даже не пытаясь увернуться.

Однажды поздно вечером сели обедать на опушке дремучего леса. Чувствовали себя в безопасности — два километра до передовой, и наутро не было приказа наступать. Так что могли спокойно пообедать. Редкая возможность...

Предзимняя пора. Снега пока нет, но кинжальные атаки холода уже дают о себе знать. Заблудившийся в лесу ветер-смутьян гонит, преследует стаю желто-красных листьев. Заезаешься, и отбившийся от стаи лист попадет в котелок, но от этого обед только вкуснее.

Послышался зычный голос Петро:

— Братушки, кому добавки, подходи!

— Вот молодец, наш Петро, — довольно отозвался кто-то из наших.

И вдруг в лесную тишину ворвался рев моторов. Несколько вражеских танков с облепившими броню десанниками прорвали линию обороны и вышли в наш тыл. Переполох возник невообразимый. Для многих это был последний обед и последний бой. Гарегин второпях бросил под надвигающийся танк связку гранат. Промажнулся, жаль. Потом, укрывшись за ближайшим деревом, открыл огонь по приближавшимся десанникам. Стрелял из ручного пулемета. Ничего не видел, кроме серых шинелей скошенных очередью фашистов. И тут услышал за спиной оглушительный треск, как будто переломили доску. Оглянулся — фриц, как срубленное под корень дерево, рухнул наземь. А Петро стоял над своей жертвой, широко расставив ноги, держа в руках свое главное оружие — длинный черпак, от могучего удара расколотый почти пополам. Впервые видел Петро без улыбки — только ярость на лице.

— Вовремя поспел, лейтенант, а то б не доест тебе обеда...

Бой продолжался. Еще не со всеми фрицами покончили.

Фронтной друг — Петро!

Те же лучистые глаза, разве только чуть выцветшие от времени. Та же добрая, подкупающая улыбка, которая теперь едва просматривается в запутанном лабиринте морщин...

... Получилось так, что ближайшие продовольственные склады попали под бомбежку. Более трехсот человек остались без продовольствия. Радиопереговоры не дали желаемого результата, по раскисшим дорогам машины с провиантом в лучшем случае могли прийти только через сутки. А голод, особенно на фронте, — тяжелое испытание. Невольно оглядываешься на обреченную на безделье полевою кухню, так сладко дымящую во время работы... И тут видим, как Петро с автоматом и ружьем направляется в лес. А в этих местах на Украине раскинулся могучий, темный бор.

— Эй, Петро, если хочешь дичи для нас настрелять, так бей в глаз, чтобы и шкуру не испортить, — сострил кто-то из ребят.

А Петро тут же нашелся, что ответить:

— Кому, кому, а уж тебе сороку добуду, будь спокоен...

Старший лейтенант Гарегин Бабаян дал Петру еще двух бойцов в подмогу. Может, и в самом деле удастся что-нибудь подстрелить — лес же кругом. И чем дальше, тем гуще. Но разве в этой чудовищной канонаде останется какой-нибудь зверь?

— Только осторожно, ребята, в случае чего дайте сигнал, людей пошлем.

А Петро обернулся и говорит:

— Товарищ старший лейтенант, прошу распорядиться, чтобы воду вскипятили, а то обед запоздает.

Не знаешь, шутит или серьезно говорит.

Прошло два часа — ни слуху, ни духу. Гарегин начал испытывать угрызения совести — так бездумно позволил ребятам уйти. Не случилось бы чего!

Из глубины леса донеслись глухие выстрелы, но кто, что — как узнать? Прошел еще час. Будто мало было им одного голода, так теперь и беспокойство нарастало. Решил послать еще людей: может, помощь нужна?

И тут откуда-то послышался голос Петро:

— Эй, ребята, мы идем, несем добычу, подсобите!

Ребята бросились на зов. И минут через пятнадцать вернулись, неся на плечах двух огромных кабанов, килограммов по восемьдесят, наверное, каждый. Какое это было мясо, какой пир!

— Наш свинопас Петро слово держит, только сороку мою не принес, — сказал тот, кому обещана была сорока.

А Петро с серьезной миной ответил:

— А я решил нашему товарищу вместо сороки кабаньи хвостики подарить, вот — оба твои, носи на здоровье.

Дружный гогот.

Остроумный и вечно влюбленный Петро...

И вот, сорок лет спустя, стоят, онемевшие, лицом к лицу. Вглядываются, узнают друг друга, но и не уверены до конца.

— Петро, дорогой, ты ли это?

— Я, браток, я...

В глазах — улыбка, и слезы тоже. Крепко обнялись, и полилась беседа вза-вза. Прохожие удивленно оглядывались на них, на их слезы и улыбки, а им нечего было стесняться.

— Сколько лет прошло, Петро!.. А ты, брат, слава богу, жив, здоров.

— И ты молодец. После того тяжелого ранения и не надеялись, что выживешь. Значит, браток, крепкий орешек!

— Выжил, победил смерть, и вот, как видишь, живу пока.

— На следующий день после твоего ранения получили приказ о повышении званий многим офицерам. И ты был в списке, а мы не могли поздравить тебя с капитанскими погонами, жалели очень и не надеялись, что эта весть дойдет до тебя.

— Дошла, дорогой, правда, с большим опозданием. Демобилизовался капитаном. А ты, Петро?

— Для повара и сержантские погоны хороши. До сих пор храню... Много лет назад, когда дети еще были малы, как-то старший сын нацепил эти выцветшие погоны, стал перед зеркалом и спрашивает мать: «Мам, подходит, а? Правда, мам?» — «Подходит, сынок, — говорит мать, — только зачем тебе это. Мы с отцом отвоевали и за вас. Не дай бог тебе пережить то, что видели мы». А он: «Мам, я люблю воинское дело, я в армию пойду, буду защищать нашу мирную жизнь». И пошел в танковое училище. Старший лейтенант уже. Серьезный парень. И семья есть, ребенок, второго ждут.

— Значит, бабушка уже!

— И не простой, а заслуженный — пять внуков!

— Рад за тебя, Петро. Но помнится, ты вроде из Днепропетровска был, а встречаю в Киеве?

— Тридцать лет уже, как здесь живу и работаю. Сейчас домой пойдем, жена будет рада. Погоди, ты же должен помнить ее, нашу Шуру!

— Красавицу из санбата?

— Ее самую.

— Ну, ты молодец, Петро, своего не упустил! А как это у вас с Шурой вышло?

— Через два года после окончания войны встретились здесь, в Киеве, и решили больше не расставаться. Она тогда еще студенткой была, теперь — именитый врач, хорошая мать, четырех детей мне родила. И я работаю пока, не могу расстаться с черпаком. Словом, брат, доволен жизнью, судьбой, моей Шурой.

— Рад, искренне рад за тебя, Петро! Ну а я в издательстве работаю, с книгами дело имею.

— Это хорошо! Хлеб и книга — две великие святыни в мире. Поверишь ли, тот расколотый черпак до сих пор храню.

— Моего спасителя? Да, не поспей он вовремя, не было б сейчас нашей встречи. А я тогда толком и поблагодарить тебя не успел.

— Не о том говорим, браток. Давай не бередить старые раны. Пошли домой, недалеко тут живу. Шура очень обрадуется.

— Обязательно пойдем, как же. Помню, как-то Шура мне сказала, что надоумил тебя, несмышленого, быть внимательней к ней. Значит, тогда еще был у ней на примете. И ты как будто был безразличен к ней, хотя кто тебя разберет.

— Да нет, все потом вышло, в первую послевоенную встречу. Как молнией

меня ударило — прозрел вдруг. Дурак, подумал, девушка эта не только раны тебе перевязывала, но на себе тащила с передовой, ты ж ей жизнью обязан. Так кто тебя лучше нее, боевой подруги, поймет! И тут же на улице взял ее под руку. Шура покорно пошла со мной, нога в ногу, потом тихо так сказала: «Куда ты меня тащишь, дуралей?» В загс, — говорю, — умница моя, нам теперь другой дороги нет...

— С удовольствием встречусь с этой умницей, поздравлю вас, хоть и с таким опозданием.

Когда вошли в дом, Шура читала у окна. Так углубилась в свою книгу, что сразу и не заметила присутствие постороннего. Не поднимая головы, сказала:

— Петро, умывайся, сейчас обедать будем. Дети у бабушки. Новая книга по медицине, по моему профилю. Немножко потерпи, милый.

Та же была красавица Шура, с большими глазами и высоким лбом, нежным румянцем щек и розовыми лепестками губ, копной густых волос, разве только заметно посеребренных. Но тот же блеск в глазах и улыбка. Как может человек так мало измениться в этой сумасшедшей гонке десятилетий! Та же Шура, только чуть располнела, и святость материнства в облике. И так же предана своему делу. Как увлеклась чтением!

Петро торжественно объявил:

— Александра Игнатьевна, доктор, может, вы соблагovolите посмотреть на башего нового больного, он нуждается в помощи.

Шура отложила книгу, встала. Подойдя к нам, долго, пристально смотрела на седого человека, выглядывавшего из-за спины мужа. Смотрела сосредоточенно, напряженно, даже морщины на лбу появились. Улыбнулась вдруг и снова посерьезнела. Подошла ближе, снова смотрит внимательно, будто решает сложнейшую задачу. Потом напряжение вдруг спало, лицо разгладилось, засветилось улыбкой, и она едва слышно произнесла:

— Гарегин, ты?!

И, не ожидая ответа, бросилась в его объятия. Прижималась к нему в каком-то забытии, слезы застилали глаза.

— Милый, милый Гарегин, боже мой, радость-то какая, через столько лет, когда никаких надежд не осталось, когда уверена была, что нет тебя... Петро, а ты что ж, подожди, ах, родненькие вы мои...

Петро попытался разрядить атмосферу:

— Хорошо еще, что я у тебя не ревнивый, а то...

— Ах, старый ты дуралей, иди же!

И они крепко обнялись, втроем, смятенные, истосковавшиеся. И в глазах их стояли слезы... с улыбкой пополам.

ВСТРЕЧА НЕ СОСТОЯЛАСЬ

На полученном в школе письме был странный адрес: «Одной из ваших хороших учительниц»... И фамилия отправителя есть, и обратный адрес. А кому конкретно письмо, кто адресат — поди угадай. Письмо с фронта — уж это точно. Конверт толстый — или гисьмо длинное, или есть там еще что-то?

Три дня не распечатывали конверт. Кто-то в шутку предложил по жребию определить адресата. Возражений не было. В учительской забегали, засуетились. Счастье улыбнулось учительнице русского языка Асмик Мелконян. Но счастье ли это было?

Асмик не спеша распечатала конверт. Чего так волновалась, сама не понимала... А в конверте было коротенькое письмо и фотография молодого офицера.

— Хороший почерк у парня, — глянув на письмо, заключила завуч Симонян.

— Младший лейтенант, — смотря на фотографию, сообщил уже отвоевавший свое, потерявший руку на поле брани Самвел Саакян.

— И парень, видно, хороший, — добавила кто-то.

— Жаль, слишком молод для меня, — с горькой усмешкой бросила давно вышедшая из «брачного» возраста Эстер Карапетян.

— А для Асмик — в самый раз!

— Да ну вас, девчата, прекратите, стыдно...

Асмик покраснела, сердце колотилось так, будто ей сделали официальное предложение, и она не знает, что ответить.

— Асмик, да ты прочти письмо, посмотрим, что пишет парень.

«Незнакомая сестричка! В нашей части получили посылки из вашей школы. И мне досталась пара шерстяных носков. Теплые и удобные носки, ноги в них совсем не мерзнут. Может, Вы или Ваша мама связали — не знаю, но я очень Вам благодарен, милая сестричка. Долго думал и вот решил написать Вам письмо. В конце концов каждое новое знакомство имеет свою прелесть. Если найдете удобный и ответите на мое письмо, в следующий раз подробнее расскажу о себе. А пока посылаю фотокарточку. Уверен, что если и не понравлюсь Вам, то уж и отвращение не вызову. Кто знает, может, я приглянусь какой-нибудь армяночке... Во всяком случае очень хотел бы получить ответ на это письмо. С уважением, Сергей Соколов».

Воцарилась тишина.

— Славный, видно, парень, — наконец произнес Самвел Саакян, глядя на свой пустой рукав. — Такое письмо нельзя оставить без ответа.

— Да, хорошо написано, — добавила Эстер Карапетян.

— Ну, Асмик, теперь дело за тобой. Наниши достойный ответ парню. И на счет русского языка, слава богу, в помощи не нуждаешься.

— И от нас привет передай.

— Когда напишешь, нам тоже прочти.

Но какая-то безотчетная тяжесть камнем давила на грудь девушки.

Трудно ей писалось.

«Мой далекий и незнакомый друг Сергей Соколов!

По счастливой случайности я получила Ваше письмо, адресованное «одной хорошей учительнице». Не посчитайте меня нескромной, но этой «хорошей» оказалась я, правда... по жребию. Не знаю, с чего начать, дорогой брат. Тяжелые времена. Мой старший брат тоже на фронте. Он писал, что в их части получили посылку с Дальнего Востока, и ему достались теплые варежки. Все наше отечество живет сейчас в тяжелых трудах и заботах, и наш народ тоже наравне с другими встал на защиту родины. Если правда, что отправленные нами носки держат в тепле ноги, то пусть это мое письмо хоть немножко согреет Вам душу. Вам шлют привет мои коллеги. Восемнадцать из них — женщины, только один мужчина. Он недавно вернулся с войны, молодой... и уже инвалид. А если б Вы знали, какой хороший парень! И мама шлет Вам привет (отца нет, он умер три года назад).

Желаю Вам крепкого здоровья и героических свершений. С уважением, Асмик Мелконян».

Всем письмо понравилось, только относительно фотографии не пришли к общему мнению. Асмик была категорически против того, чтобы послать свое фото:

— Не могу я в первое же письмо вложить свою фотографию — это было бы очень легкомысленно со стороны девушки. Там посмотрим.

Переписка завязалась, письма шли в оба конца. Не очень, правда, регулярно. Иногда застревали в дороге неделями, а то и месяцами. Случалось, что два письма, отправленные в разное время, доходили в один день. Но это было неважно, ведь в конце концов они находили своего адресата. И сколько душевного отдохновения обним дарили эти письма!

«Уважаемая Асмик Геворковна, я часто думаю, как сложен внутренний мир человека, как переменчив, непостоянен. В этот день после беспокойной, тяжелой ночи наступил чистый рассвет. Но у меня в душе как будто черная туча засела — дышится с трудом и себя девагь некуда. Время выдалось свободное, но даже читать не хотелось, что со мной бывает очень редко. И вдруг кто-то из ребят протягивает мне Ваше письмо. Такая меня сразу радость обуяла, что расцеловал

того парня. Спасибо Вам за сердечное и умное письмо, которое очень помогло мне в трудную минуту. И это письмо написала незнакомая и славная девушка...

На рассвете пойдем в атаку, получено задание отбить деревеньку, здесь поблизости. Решил вот прежде написать Вам ответ. Так мне будет спокойнее, лучше буду бить врага.

Уж извините за нескромность, но Вы ничего не написали о моей фотографии, хоть бы сказали, имел ли право предстать перед Вами с такой рожей? И мне, что греха таить, интересно, как выглядит «хорошая учительница» по жребию...

Вы назвали меня братом. Это большая честь и ко многому обязывает. Значит, в завтрашнем и других боях я буду защищать не только жизнь и честь своих родителей и братьев, но и моей новой сестры. Жизнь действительно удивительная штука и полна приятных неожиданностей. Сколько горевала мать, что не смогла нам, трем братьям, подарить сестру. Я считаю, что мечта ее сбылась. Напишу ей об этом, только не знаю, дойдет ли письмо? Извините, меня зовут к комбату. Как говорится, продолжение в следующем номере. Ваш брат Сергей».

Следующее письмо сильно запоздало. Асмик очень волновалась, и сама не могла понять — почему? Днем и ночью не выходил этот парень из головы — неужели на правах только брата?.. Фото его поставила на туалетный столик, и дома он все время был перед глазами, молча беседовали. О чем? Неизвестно. А она еще фотографию свою не отправила, нехорошо это, ведь знает, как ждет Сергей. Надо сфотографироваться обязательно. Для брата не жалко...

Очередное письмо от Сергея было очень грустное. Вернее, не само письмо, а описанные в нем события. Писал из госпиталя, был ранен. Но если написал, значит, дела его не так плохи, не стоит беспокоиться.

«Милая сестричка (если слово «милая» использовано неуместно, можете вычеркнуть, то есть отредактировать, как отец мой делал, редактируя статьи). Да, все собираюсь написать вам о своих родителях. Я из Смоленска. Мать — учительница с тридцатилетним стажем, отец — работал в редакции областной газеты. Участник гражданской войны. В рядах 11-ой Красной Армии участвовал в установлении Советской власти в Армении. Очень гордился этим, часто повторял своим сыновьям: «Будет возможность, обязательно поезжайте в Армению. Увидите, какой это дивный край, какой прекрасный народ. Из глубины веков берет начало и имеет право на жизнь»: Может, и в самом деле мне удастся когда-нибудь побывать в Армении. В конце концов надо же мне повидаться с сестричкой!»

Родители мои люди пожилые, уже на пенсии, братья женаты, я младший и невезучий... Мне часто представляется такая картина: кончилась эта чудовищная война, и я с отцом приехал к вам, в Геташен, прямо в вашу школу... Разве можно прожить без мечты!

За меня не беспокойтесь, сестричка. Письмо пишу из госпиталя — осколок мины слегка «пощекотал» ногу (хорошо, что рука цела). Уже второй месяц лечусь. Ваше письмо получил с опозданием. Но главное — наша беседа продолжается. Извините, но вы, наверно, даже не представляете, какая радость для меня каждое ваше письмо, как окрыляет, какую придает силу, помогает побеждать ненавистного врага и саму смерть. Это ведь одно чудовище о двух головах, убивающее все живое, убивающее любовь...

Через пару дней выпишусь и отправлюсь в свою часть. Очень беспокоюсь, не имея вестей о родителях и братьях...

Передайте горячий привет вашим друзьям-товарищам. Мои добрые пожелания вернувшемуся с фронта собрату — Самвелу. С уважением, ваш далекий брат Сергей».

Именно в эти дни в дом к Асмик пришли сваты. Просили ее руки для колхозного бригадира, усилиями знакомого врача и еще неизвестно чьих избежавшего фронта. Мать, по всему видно, была согласна, оставалось узнать мнение девушки. А Асмик как ножом отрезала:

— У меня уже есть друг жизни. Вы, видимо, ошиблись адресом. Мать поблднела.

— Доченька, ты что рехнулась, кто ж это твой друг, что я не знаю? Уж не тот ли, что письма шлет? Вот дуреха!

Это письмо, как-то независимо от нее самой, получилось особенно теплым. Долго колебалась — отправлять или писать новое? Отправила без изменений.

«Дорогой Сергей, если бы ты знал, с каким нетерпением жду каждого твоего письма (я уже перешла на «ты», думаю, это правильно). Эти письма стали частичкой моей жизни. Я часто благословляю тот день, когда мы послали посылки на фронт и когда получила первое твое письмо. Жила себе тихо, мирно, хоть и в эти грозные дни, с головой уйдя в работу. О друге жизни думать не было ни времени, ни настроения. И вдруг — ты! Как ты вошел в мою судьбу! Поверишь ли, я теперь с большей любовью и радостью вхожу в класс. И когда говорю с детьми по-русски, мне слышится твой голос, как будто ты стоишь рядом, мой знакомый и родной друг. Если и ты испытываешь те же переживания и тебя объела та же восторженность, значит, наша переписка не пустая трата времени, а оправданная, я бы сказала осмысленная необходимость. В одном из писем ты писал, что жизнь запутанна и непостижима, а иногда и необъяснима. Я каждый день убеждаюсь в правоте твоих слов, особенно когда письма от тебя долго не идут...

Посылаю свою фотографию. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Только уговор — пишешь обо мне одну правду. Я согласна увидеть твое разочарованное лицо, только бы не слышать фальшивых похвал в свой адрес. Пожалуйста, еще раз прощу, будь искренен — это для меня самая ценная черта в человеке. С ожиданием и готовностью к прямому ответу, твоя сестра Асмик».

Ответного письма и на этот раз долго не было. С каким нетерпением она ждала его и «оценки» своей фотографии. Знала, конечно, что не дурнушка — люди тоже говорят. А по мнению одного почитателя, так была первой красавицей на курсе.

Однажды во время уборки картошки отвергнутый бригадир бросил ей между делом:

— Когда кончится эта твоя история с заочным женихом, сообщи, пожалуйста, а то все хорошеешь...

Самвел был недалеко и слышал эти обиженно-обидные слова бригадира. Страдальческая улыбка исказила его лицо. Глядя на свой пустой рукав, грустно подумал: действительно, хороша Асмик, и он сам небезразличен к ней — вот что плохо. Нечего ему свои обескрыленные манатки навьючивать на ее молодой караван...

Наконец пришло письмо от Сергея. Очередное. Но могла ли Асмик знать, что это его последнее письмо?..

«Милая Асмик, я всегда был горд и счастлив тем, что ты позволила называть себя сестрой. Теперь коленопреклоненно прошу освободить меня от обязанностей брата... Твоя фотография наконец со мной, перед глазами, в нагрудном кармане, близко к сердцу. Клянусь, такой именно и представлял тебя — с круглым лицом и выразительными глазами, высоким лбом и пышными волосами. И маленькие ротик и нос, и едва уловимые улыбка и румянец, и рожденные для поцелуя губы... Прости, пожалуйста. Единственная разница между моим представлением о тебе и действительностью — это цвет твоих глаз. Я думал, что ты должна быть черноокой горянкой. Оказывается, нет — голубоглазая! Откуда ты взяла этот цвет! В Армении и моря-то нет, или это ваш дивный Севан сияет в твоих глазах? Может, и твой родной Капутлич — Синее озеро? Отец как-то рассказывал о запрятанном в глубине леса чудо-озере. Я благословляю тот час и с нетерпением жду того счастливого дня, когда буду иметь возможность и право целовать похожие на безоблачное небо твои ясные глаза. Еще раз прости, если я перешел границы приличия. Но не могу понять, как это жил до сих пор, не зная о твоём существовании, не зная тебя, наконец, без твоих удивительных, нежных писем! Не чудо ли это, одно из редких в жизни чудес!

Большое наступление началось на берегах матушки-Волги, наконец-то хотим расквасить морду ненавистному врагу. Как ждали этого дня! Следующее письмо мое может запоздать, не волнуйся. Я верю в свою звезду, верю, что мы обязательно встретимся. Я явлюсь пред твои очи, отчитаюсь о былом, и вместе мы подумаем о будущем. Благословен будет тот день...».

Встреча не состоялась. Писем больше не было. Неужели звезда Сергея предала его?.. Асмик отказывалась верить в это. Она ждала, ждала с удивительным упорством. Написала письмо командиру части, в которой служил Сергей.

Ответ был неутешительный.

«Лейтенант Сергей Соколов был тяжело ранен в боях под Сталинградом и госпитализирован. Его дальнейшая судьба нам, к сожалению, не известна. Храбрым был командиром Соколов, честным человеком и хорошим другом. Вы вправе гордиться им».

Потянулись годы. Упоительная весть о великой победе, как дар небесный, свалилась на нетерпеливые крыши домов, как родная сестра вошла в сердца людей. А от Сергея все не было никаких вестей. Его письма поблекли от времени, но не поблекло ожидание Асмик. Она еще жила надеждой. Часто перечитывала письма, смотрела на фотографию, сроднилась с ней, и не кончалась ее нежность.

А когда переполнилась через край чаша ожидания и сгорел, испепелился последний мостик надежды, Асмик вышла замуж за Самвела Саакяна. Сама с подбитым крылом, может, хоть его окрылит...

Через три года у них родился сын. По молчаливому уговору супругов назвали его Сергеем.

Поэзия

Вадим Перельмутер

Стихи и переводы

ВЕК

У века — противоречивый нрав
И противоположные стремленья:
Он — костолом, и он же — костоправ,
Да не всегда возможно исцеленье!
Порывом разрушенья увлечен,
Он выкорчевал лучшее, что было,
А нам оставил — разве что уныло
Теперь скорбеть, что бездуховен он
И что согласно выводу такому
На протяжении лет его и дней
Страшней бывало — не было тусклей,
И трудно предпочесть одно другому.

Но каждый перед всеми виноват,
И все мы
Перед каждым
Виноваты

В том, что на милость веку все подряд
Сдавали — без отпора и расплаты,
Что в олицетворениях его,
В гримасах человеческой личины
Всего охотней видим не причины
Творящегося — и не существо,
Что, зная ложь и понимая вздорность,
Заполняющие наши дни,
Свое потворство и свою покорность
Оправдываем тем, что искони
Быть гласом вопиющего в пустыне —
Небезопасно,
Да и ни к чему,
Что век, состарившись, уходит ныне,
Прощая всем,
Кто не простит ему.

СВОДКА ПОГОДЫ

С утра дождит, а в полдень —
липкий зной,
Переходящий к вечеру в прохладу,
А то и ветер чуть не ледяной,
Как будто, приближаясь к листопаду,
Прибавил обороты шар земной.

Хоть это и пустынные невзгоды,
Но и они сейчас не ко двору,
Когда похмелье в собственном пиру
И, заморожен шутками природы,
Не знаешь, как одеться поутру.

Да что там! В наготе среди ночного
Болота вязко погружаясь в сон,
Почти блаженно неосведомлен:
Где вынырнешь — и вынырнешь ли
снова?
Когда прервется — и прервется ль он?

Каким тебе предстанет все, что ныне
Обыденный очерчивает круг?
Признаешь ли в полуденной пустыне
Полночный лес? И в пересохой глине —
Своих следов растраченный досуг?..

Но, приходя в себя и навзничь лежа,
Сообразишь, что снова пронесло,
Что радио пророчествует то же,
Что и вчера, и, по всему похоже,
Опять не ошибется, как на зло!

И, стало быть, опять придется в оба
Глядеть, не забывая о былом,
В котором все, что было, — паделом!..
С утра дождит. Окояного озноба
Двоятся капли на стекле двойном.

СПОР

История народа принадлежит царю.

Н. Карамзин

История народов принадлежит народам.

Н. Тургенев

История народа принадлежит поэту.

А. Пушкин

Хитрец, или мудрец, или простак
Неторопливо проникает мрак
Минувшего, богатого уловом.
Он обеспечен и столом, и кровом,
Которым, в сущности, цена — пятак.
Он был поэтом — и владеет словом,
Чтоб, не без риска угодить впросак,
Перебелить, не повредив основам,
Событья — сообразно взглядам новым
И убедить, что было только так.

Он занят врачеванием хворобы
Общественной, не зная, что микробы
Давным-давно проникли и в него,

А современнику милей всего
Беспамятства безгрешные сугробы.
Он, в меру пониманья своего,
Желал бы докопаться до того,
Что всем продемонстрировать могло бы
Бессмыслицу вражды, бесплодые злобы,
Разумного начала торжество.

Отточен слог. И безупречна фраза.
Но всякий лист невидимо для глаза
Заляпан посреди и по краям
Чумой, войной, потопом, недородом...
История принадлежит народам.
Историки принадлежат царям.

РАВНОВЕСЬЕ

В эпоху многоголосья
Являет немногословье
Душевного равновесья
Единственное условие.
Пусть мысль удалась на славу
И губы разжать торопит,
Но чтобы начать слово,
Бессмыслен былой опыт,
Не впрок и не на потребу,
Затем что на этом свете
Есть время ловить рыбу
И время сушить сети.
И все хорошо к сроку,
А главное — ненарочито.

Есть время входить в реку
И время читать Гераклита.
И, может быть, справедливо
И понято непревратно,
Что лучшая часть улова
В прорехи ушла обратно.
И, может быть, не напрасно,
Хотя и не в нашей власти,
Есть время гулять розно
И время бывать вместе.
Не хуже других повод,
Каким ни гляди взглядом, —
Ты станешь латать невод,
А я посижу рядом...

НА ТЕМУ ПИГМАЛИОНА

В самооправданных ты сильна,
И логична, и неутомима.
Но слова проскальзывают мимо
Пониманья, только муть со дна
Поднимая, и ложатся тенью
На и без того не ясный день.
Эта ослепительная тень
Непрозрачна разуму и зрению.
И не принимает их в расчет.
И твоя настойчивость мурашья,
И твое холодное бесстрашие
Таковы, что оторопь берет.

Все, что некогда творилось мною
Из огня, из глины, из воды,
Ильиче возвращаешь ты с лихвою,
С чувством совершенной правоты.
Ничего я возразить не смею,
Так что мы и в этом не равны,
И не нахожу такой вины,
Чтобы не признать ее своею.
Что принадлежало нам двоим,
Звонко распадается на звенья...
Может, в том конечный смысл творенья,
Что оно становится чужим.

Ованес Григорян

ЗИМНИЕ ТЕМЫ

1.

Деревья
в белых бинтах с головы до пят,
а воздух морозен,
точно взор гостиничного портье,
что головой качает
и говорит одно только слово — нет.
И снова сыплется снег
на деревья,
и постепенно снег засыпает тебя,
что с чемоданом в руке
стоишь
посреди чужого города
и думаешь — есть ли кто-либо
несчастней,
чем тот, что под снегом, с чемоданом
в руке
стоит
посреди чужого города, —
и головой качаешь,
и говоришь одно только слово — нет.

2.

Зима в незнакомом городе — вдвойне
зима,
и одиночество — вдвое тусклей,
и даже воробьи,
Замерзшими слезами
повисшие на ресницах деревьев,
несчастней,
если смотрит на них чужой
из окна двухэтажной гостиницы.
Долго смотрит и думает —
странно,
столько прожито лет,
и нечего вспомнить,
чтоб согрелись
кончики пальцев...

3.

Наверно, снег — тот самый,
о котором твердят,
мол, идет
и приносит счастье.
Наверно, час — тот самый,
когда люди встречаются
и говорят о главном.
Наверно, девушка — та самая,
которую встретить должен был я
под первыми хлопьями снега

и говорить с ней о главном.
Наверно, это и есть мечта —
та самая,
последняя из всех.

4.

Потрескивают в камине
дрова,
а ты прикрыл глаза
и, утонувши в кресле;
ждешь,
чтобы кто-то в дверь постучался,
и вскочишь,
и стремительно дверь распахнешь,
и скажешь: дорогая...
И медленно открываешь глаза —
огонь в камине давно догорел,
и едва разгибашь спину,
и совсем ооченел,
дорогой...

5.

Снова тот же цвет,
снова то же слово,
отведи рукой занавеску, —
снова тот же снег.
Тот же бесконечный снег,
то же бесконечное слово,
тот же бесконечный цвет.
и погляди — единственным словом,
и погляди — единственным цветом,
как непринужденно, неприметно
сотворила природа
твое многословное,
несказанное
одиночество...

6.

Смех под моим окном,
и крики, и шум веселой возни,
кувыркаются в сугробах
два мальчугана,
падают, поднимаются, валяются вновь,
скачут, играют, хохочут...
И ты стоишь у окна,
завороженно глядя на них,
не замечая,
как протягиваешь ооченевшие руки
и греешь онсмевающие пальцы
над костром их веселого смеха
и радостных криков...

7.

По зимней темнеющей улице,
съжившись, пробежала
собака,
одетая слишком легко.

Плечи твои невольно съжились под
пальто,
и руки твои
углубились в карманы,
ты растерянно остановился:
куда побежала зябущая собака?
И куда этой ночью морозной
я иду?..

МАЛЕНЬКОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

Дом,
Где мне хотелось бы жить.
Цветы на подоконнике.
Графин с водой на столе.
Недочитанная книга на диване.
Тяжелые шторы, из-за которых
я часами глядел бы в окно:

во дворе
играет моя маленькая дочь,
с ног до головы в пыли...
И мне хотелось бы жить
вечно.



Вниз по течению
скрипка плыла.

Что за скрипка! —
вся увита цветами, —
несказанно прекрасна.

А на берегу
стоял скрипач,
что за скрипач! —
весь в слезах.

А издалека
девушка приближалась к нему,
словно музыка, обнажена,
и прекрасна, словно цветами увитая
скрипка.

А когда взошла луна,
река зазвучала переливами скрипок
и вознеслась мелодия к небу —
вся в слезах.

◆

Будь я владелец пустыни,
созвал бы к себе
всех сохранившихся в мире львов
и показал бы:
смотрите, сколько песка у меня
и сколько покоя и воли.
И показал бы:
смотрите, сколько в пустыне солнца,
и все оно тоже
мое — и ваше.
И показал бы:
смотрите — нигде никого, кто мог бы
вас укорить,
что вы такие, как есть.
И никто не посмеет
обрить ваши гривы.
И показал бы:
смотрите, сколько вокруг тишины,
и вся она — ваша.
Можете рвать ее, сколько хотите,
своим металлическим рыком.
А после,
позднюю ночью,
в одиночестве,
каждый из нас напишет
свое
стихотворенье о клетке.

◆

Хоть бы кто-нибудь еще оставался —
потолковать о минувших днях.
Потускневшие голубые глаза —
кое-где растрескалась краска,
и стекол в очках давно уже нет,
а дыры заделаны клочьями старых газет.
Несколько старых трамваев,
как побитые псы, поджавши хвосты,
слоняются по задворкам,
очень скоро
их в городе вовсе не станет.
Далекий город,
откуда отец мой давно уже писем не пишет.
Трухлявые, словно крылья бабочек, воспоминанья
сохнут на ниточке мысли моей,
рвущейся не к месту и к месту.
Волглые дни, сигареты
на подоковнике сушат бока.
Таз с водою,
и ты, на постели сидя,
сунул ноги в горячую воду
и внимательно пришиваешь пуговицу к рубашке.

◆

Юрий Карабчиевский

ТОСКА ПО АРМЕНИИ

Повесть

ГЛАВА ПЯТАЯ

ГРАНТ

I.

Однажды мне позвонила приятельница из Киева и, минуя вопрос о здоровье детей, сходу сказала так:

— Я должна тебе сообщить, что в нашей стране, в наше время живет великий писатель, и ты наверняка о нем даже не знаешь.

— Знаю, — ответил я, почти не задумавшись, и назвал ей имя.

Она разочарованно подтвердила. И хотя я тоже узнал недавно, а прочел и вовсе месяца два назад, но добавил с важностью:

— Как же, как же не знать! — И повторил окончательно и с удовольствием. — Знаю — ГРАНТ МАТЕВОСЯН!

Нет, это невозможно, сказал я тогда, назад два месяца. Вряд ли, сказал я, держа в руках эту книгу. Стилизованный орнамент на картонной обложке подкреплял мое недоверие. Фольклор. Представляю. Ансамбль песни и пляски. Сын уезжает в город учиться, а его девушка в это время... А старуха жалуется на жизнь: такие стали все образованные, просто не с кем поговорить. Тут же светлая грусть автора: все-таки раньше было тоже много хорошего. И совсем уже членораздельный, в полный голос, экскурс в экологию: охраняйте свою среду! Жизнь, между тем, противоречива и даже порой трагична. Но!.. И даже порой без «но» — вот такая смелость. Ну и так далее. И хотя эту книгу давал мне не просто кто-нибудь, а умный человек и большой писатель, я все равно не поверил. Он был давним другом Матевосяна, а о друге чего не скажешь хорошего?

Я помню, как пришел домой с этой книгой, как раскрыл ее и увидел горы, и снова орнамент, и задумался, прежде чем начал читать. Я подумал о странной закономерности, которая впоследствии оказалась предубеждением, от которого я, впрочем, и теперь не отказываюсь: что большая литература возможна только у большого народа. Буквально большого — по численности населения, ну и, конечно, по исторической роли. Я не говорю о поэзии, она здесь не в счет. Поэзия — явление узко национальное, поскольку все переводы — фикция, в лучшем случае — сообщение о наличии, и в самом лучшем — стихи переводчика. Но проза-то безусловно переводима, что бы там ни возражали киты-полиглоты. И вот — явная такая зависимость. Уж кажется, что может быть индивидуальней художественного творчества. И убежденный сторонник всяческого субъективизма и враг всяческой социальности, я вынужден признать и даже настаивать, что значительность художественного произведения тесно связана с общественной жизнью страны, с ее масштабом и широтой, с ее открытостью в общий мир, с тем местом, ко-

Окончание. Начало в № 7.

торое она занимает в общей судьбе человечества — то есть с теми неохватно громоздкими понятиями, которых вправе чураться всякий нормальный художник.

Ведь если рассматривать только текущий момент, а всю предысторию брать как готовый итог, то, казалось бы, так: рождается гений, создает великое произведение, и поскольку он один за все времена, то и вся слава за все времена — ему одному. На самом же деле все совершенно не так. На пустом месте не рождаются гении, для этого мало папы и мамы, и формула «гений, рожденный народом», верна, как бы она нам ни резала слух. И даже если мы намеренно отбросим весь неосвязаемый духовный слой, связующий художника и его народ, и останемся лишь на тех воплощениях, которые доступны нашим органам чувств, то получим, по крайней мере, два необходимых условия. Во-первых, конечно, язык, его разработанность и готовность, его соответствие стилю и духу времени. Но во-вторых, и это не менее важно — **степень проработанности общих мест и абсолютный уровень обобщенности**. Чем более значительные понятия и образы входят в тот литературный пласт, от которого отталкивается писатель, тем сильнее толчок и тем выше полет. Но это не только от наличия средств выражения, а не менее — от наличия средств **умолчания**. Возможность сказать нечто следующее немислима без возможности не говорить предыдущего. Значит, кто-то должен был сказать до тебя. И в России-то с этим как раз порядок. За двести лет профессиональной литературы у нас столько и так сказано, что мы можем молчать еще двести лет и сойдем за умных. Но в Армении... Язык прекрасен, я верю, слышал, читал. Но ведь не было сколь-нибудь значительной прозы, нет трамплина, нет пласта умолчания, надо с нуля, сначала, все по порядку. И значит, как бы ни был талантлив автор, его удел — провинциализм, пересказ, перепев с национальным орнаментом. И эта поверхность и вторичность должна особенно резать глаза в переводе.

И вот я раскрыл эту книгу и начал читать, и забыл все свои рассуждения, и читал, сколько хватило сил, а утром проснулся с радостью и не сразу понял, откуда она: никаких приятных событий вроде бы не ожидалось. Но я увидел на стуле книгу и вспомнил, что радость моя имеет имя. Она называлась **ГРАНТ МАТЕВОСЯН**. И я шел потом к остановке автобуса и улыбался, как идиот, и все мне казалось, что портфель, где лежит моя книга, разогрет изнутри: я просто видел, как тают снежинки, падая на его поверхность. В метро, после каждого перехода, я протискивался вглубь, нетерпеливо, в угол, к стеклу двери — не прислоняться, — открывал портфель на весу, прижимая коленом, и вытаскивал се поскорее на свет...

Там было все, чего я так опасался: деревня в горах, и сын в институте, и старухи и старики, и такие все стали, и еще много вещей, так просто называемых, все там было — и все это было прекрасно. В этой книге присутствовали все компоненты высокой прозы: стиль, ритм, точность рисунка, подлинность персонажей; наверно, и композиция была и сюжет, если начав читать любую повесть, невозможно было до конца оторваться. Но не в этих категориях хотелось о ней говорить. Любовь к людям и любовь к животным, и любовь к жизни и невозможно жить, любовь, люди и жизнь — может быть, так. Ни идеализации, ни стилизации, ни сгущения красок, ни разрежения, жизнь, казалось, не подверглась никакой обработке, мы получали ее из первых рук — но это были руки настоящего мастера и удивительного человека. Его юмор был ненавязчив и легок, но и не являлся, вместе с тем, оболочкой, а всегда содержался в глубине ситуации, как органическое свойство жизни. Его боль была лишена патетики и если порой прорывалась криком, то это был крик самого страдания, а не вопли автора по поводу чьих-то страданий. И безмерная грусть, и ясная мудрость, и глубокое чувство общей судьбы — в этой книге, не содержавшей авторской речи, ни абстракций, ни обобщений, также были свойствами жизни, людей, природы. И от этого, быть может, чувство **приобщенности**, пройдя через высокий эстетический взлет, не минуя его, а неся в себе, возвращалось потом обратно в жизнь, становилось снова — надеждой, родством, любовью... Нравилась ли мне эта книга? Я любил ее, она мне была родной. Тогда в метро, притиснутый в угол, спотыкаясь о собственный неуклюжий портфель, поспывая и улыбаясь украдкой и украдкой вытирая пальцем глаза, я так и сказал себе: родная книга.

Уже теперь, через несколько лет, намереваясь писать об Армении и о Гранте, я снова взял эту книгу в руки, но уже не с опаской, как в первый раз, а с нешуточным волнением и тревогой: мне было теперь что терять. И когда я прочел все повести, одну за другой, неотрывно, то эта, уже третья по счету радость была не меньшей, чем первые две. Я был счастлив тогда в Ереване — убедившись в том, что Грант Матевосян так же прекрасен, как его книга; и я был снова счастлив теперь в Москве, оттого что его книга также прекрасна, как он.

2.

— Грант Матевосян, Грант Матевосян... Нет, — покачал головой Норик, — никогда не слышал.

— Да. Слышал. И даже. Читал. — твердо построил Тигран и поспешил перейти на другую тему.

— Прекрасный писатель! — волнуясь сказал Акоп. Но взволновался он не по этому поводу, это было общее большое волнение, сопровождавшее, как фон, армянскую тему. Никакого эмоционального приращения не чувствовалось, а чувствовалось, что если отделить этот фон, то останется равнодушие и безразличие.

— Кому это вы такие эпитеты? — удивилась Сюзанна. — Ах, Матевосяну! — Уж она-то, конечно, читала. — Ну что вы, что вы... Да нет, хороший писатель. Но он не единственный, сейчас таких в Армении много.

— Знаете что, — я тихо киплю. — Знаете, что... Мне трудно спорить, я тех, других, не читал. Но скажу вам одно: если вы правы хотя бы отчасти, если найдется хотя бы два или три такого же уровня, то значит, учитывая армянскую численность, вы — самая литературная страна в мире, и даже современной России до вас далеко!

— Вы слишком добры. — Она улыбается. — Вы слишком добры.

— Да-да, говорит **Сергей Асоян**, — то, что ты рассказываешь, очень типично. Представь себе, что во всей Армении только несколько десятков читателей понимают по-настоящему, что такое Грант...

Сергей Асоян — мой новый друг, лучшая моя находка в Армении, и если я до сих пор о нем не сказал, то только оттого, что не было повода, а повод должен был быть — непременно литературный. Мы познакомились с ним в нашем геобио, где он ведет литературный кружок, два раза в месяц, по четвергам, за полставки старшего лаборанта терпеливо и многократно в течение двух часов прослушивая список популярных армянских рифм.

— Давить их надо, мэнээсов этих, — сказал он мне в первый же вечер. — У них ведь, у гадов, принцип какой? Литература есть все, что не есть наука. Но и пятьдесят рублей не валяются...

Первая и естественная здесь характеристика — как говорит по-русски — по отношению к Сергею неуместна и смешна. До двадцати лет он не знал почти ни одного армянского слова и ни разу не был в Армении. Жил во Владимире, учился в Москве. (Москва не Минск, и это не повод к сближению. Но Набокова он тоже, конечно, читал...) Затем, после смерти своих обрусевших родителей, вдруг услышал голос крови, зов предков, притяжение родимой земли — и кинулся в Ереван. Но не просто приехал и начал жить, а выучил язык, воспринял историю, пророс интересами, друзьями, делами — стал армянином! Такой молодец.

Мы шатались с ним по вечернему городу, сидели за столиками на улице, пили кофе, пили шампанское (почему-то в кофейнях кроме кофе — только шампанское), упивались этим кофе и этим шампанским, но еще более упивались общностью взглядов по всем затрагиваемым вопросам. Под конец зашли к нему и зашли ко мне, обменялись статьями о Мандельштаме — даже тут совпадение. Его была напечатана в «Литературной Армении», моя — не скажу, где...

— Да, — говорит Сергей, — ты прав. Грант — удивительное явление. Он работает почти на пустом месте. И насчет необходимости умолчания — это я тоже с тобой согласен. Тем он и замечателен, Грант, что сумел впитать в себя **русский** литературный опыт, да наверное, и не только русский, каким-то чудом пропус-

тив его через армянский язык. И пишет он так, будто он вовсе не первый, будто была до него большая армянская проза, и не в древности, когда она действительно была, а вот теперь, сейчас, еще в прошлом году... А между тем, и с самим языком тоже все далеко не просто. Вот мы сейчас с тобой разговариваем, и трудно представить письменный оборот, который был бы неуместен в нашей устной речи. Русский образованный человек говорит на языке, бесконечно близком к литературному, расхождения в построении фраз, а тем более в словаре — незначительны. В армянском же все не так. Здесь отсутствие в течение столетий большой прозы сказалось роковым образом. Литературный армянский — это язык поэзии, его одной созданный и воспитанный. Он настолько приподнят над обыденной устной речью, что порой не совпадает с ней почти ни в одной конструкции. Вот тебе продиктовал твой Миша: **Мек гаваг сурч**. Но так не говорят, так только пишут. **Мек** — это литературное числительное, соответствующее ему разговорное — **ми**. И в кафе ты услышишь: **Ми хат сурч** — буквально: одну штуку кофе. Отчего он так ошибся? А он не ошибся. Ты **записывал** — он и продиктовал тебе **письменное** значение. Это вышло у него само собой. Такое различие в простейших словах, что уж говорить о более сложных!

И наш замечательный Грант, создавая новую армянскую прозу, совершает еще и труднейшую работу по сближению литературного и устного языков. Простым механическим переносом здесь, как ты можешь понять, не отделаешься. И как ему это удастся — просто чудо и тайна...

3.

Наш общий с Грантом приятель, московский писатель, передал мне для Гранта кипу книг и журналов — из чисто альтруистических соображений: ему это было совершенно не нужно, во всяком случае, не к спеху. Но он знал мое к Матевосяну отношение и вот сделал мне такой подарок. Там были его собственные недавние сборники, журнал с повестью Матевосяна на английском, новая книга их друга — алмаатинца, которую я успел за эти дни проглядеть, и еще что-то, уже не помню. Всю эту расплывающуюся кучу информации я то разделял на две половины и нес каждую в каждой руке, то соединял и брал под мышку, под правую, но спохватывался, что ведь надо будет здороваться, и тут же, торопясь, перекладывал под левую. Я узнал его сразу — как могло быть иначе! Он двигался стремительно и направленно, и хотя временами лавировал, оглябая встречных, казалось, что путь его прям, как луч, что лавируют только встречные, его оглябая. Я заметил его в шагах двадцати — и вот он уже отделен от меня пятью, тремя, одним человеком, и вот уже никто и ничто не препятствует нашему взаимному (по законам механики) с ним притяжению.

Он усмехнулся. Я молвил: «Спасибо» —

И не нашел от волнения слов.

— Пароль! — сказал Грант Матевосян и назвал имя нашего приятеля. Я только молча улыбнулся в ответ и протянул ему свободную руку.

Он был худ, высок, но довольно широкоплеч, и хотя руку мою пожимал легко, я почувствовал в нем сухую нервную силу. Большие глаза его были слегка красноваты, как бы немного воспалены, и от этого его умный и острый взгляд приобретал еще особую пронизательность. Да и во всем его облике, с обтянутыми скулами, с нервными, хотя и полными губами, с высоким, накатывающимися темя лбом, чувствовалась какая-то **воспаленность** — именно это слово первым пришло мне в голову и осталось потом как главная характеристика.

«Если вы не торопитесь, — сказал он, — идемте». -- И тут же круто повернул назад и мы сразу начали с ним торопиться. Я не знаю, действительно ли мы спешим, или это обычная его походка. Я передаю ему журналы и книги. Он перебирает их на весу, на ходу. «Да-да, знаю, прекрасно, видел, читал, хорошо... О! У алмаатинца уже вышла книга. Наконец-то. Вам нравится?» — Нет, говорю я, не нравится. — «Да, верно, плохая книга, — соглашается он, не меняя интонации, так, будто хвалит. — Он наш друг, и рад за него, но книга плохая. Он — как это? Холодно? — холоден. Он холодный писатель, а это нельзя, невозможно. Вы согласны?» — Я с радостью соглашаюсь. Мы стремительно движемся куда-

то, куда он знает. В ресторан? Скорее всего. Я уже предчувствую тот навязчивый шум и свет, свою беспомощность и принужденность, с трудом разогреваемый разговор, который, когда он наконец разогреется, разгонится и перестанет сам себя замечать, будет прерван официантом, и все сначала... И делать вид, что это тебе все равно, тянуть и варьировать последнюю фразу, а потом напиток и уже неважно... Но потом — эта тяжесть, кто будет платить, у нас обоих, конечно, без счета, полный карман, и все это пустяк, формальность, и все-таки я, нет, все-таки я, и он скажет официанту пару слов по-армянски, тот отведет мою руку в сторону, и я улыбку растерянно и облегченно...

— Куда мы идем? — спрашиваю я наконец.

— Как куда? Ко мне домой, — отвечает Грант. — Это рядом, вот тут, должно идти не надо.

Мы входим в подворотню большого нового дома. (Строительный хлам, доски, известка, ржавое железо.) «Вот видите, очень близко». В лифте он шутит с какой-то девушкой, мы выходим на площадку, дверь, звонок — и пожалуйста: квартира Гранта Матевосяна...

Мне очень трудно описать тот вечер, он всплывает в памяти какими-то пятнами, частями разговора, отдельными лицами, деталями, как говорят, интерьера. Но отчетливо я помню, что с начала до конца не оставляло меня ощущение радости и какого-то удобства, довольства, соответствия. Ни секунды не было мне неловко, ни на миг не почувствовал я себя чужим. Странная вещь, даже такое осталось чувство, будто все они, домашние Гранта, говорили между собой по-русски, хотя это, конечно, исключено. Его жена, ироничная и снисходительно-мягкая, говорила по-русски так же... как он. Но тут я проглатываю определенное, потому что «плохо», «искаженно», «неграмотно» — все эти слова никак не подходят к речи Гранта и Важины. Скорее я бы сказал, что они говорят **измененно**. Какая-то стойкая надъязыковая основа просвечивала сквозь эту неправильность, угадывалась лингвистическое чутье. И от этого порой казалось, что та или иная измененная фраза чуть ли не богаче исходной и чисто русской. Впрочем, дети — девочка лет на пять постарше мальчика — говорили по-русски почти без ошибок и то и дело поправляли родителей, и это как-то не выглядело назойливым.

Мы немного походили с Грантом по квартире. «Вот, — сказал он, — видишь, только что получил. Прекрасная квартира, четыре комнаты, только мечтать, жиби и радуйся, отвратительно сделана, невозможно жить. Двери и окна не закрываются, плитусы отходят, отделка отваливается, трубы текут и в стенах щели шириной с палец. Вот мой кабинет. Кажется, слава богу, наконец-то отдельный. Но два часа посижу — и верная ангина. Пять тысяч надо на ремонт, у меня их нет...»

Я подхожу к столу и наконец, впервые, вижу машинку с армянским шрифтом.

— Эта мне не нравится, — говорит Грант. — Прямой шрифт, слишком **далекий**. Вот как она печатает.

Он показывает рукопись.

— Моя новая книга. А вот другой экземпляр, это уже — на машинке с наклонным шрифтом, такая мне больше подходит...

Я зачем-то долго рассматриваю ряды крючковых значков, врассыпную, беспомощно и бессистемно, пытаюсь извлечь из них то, что они означают: **слово**. Но нет его, нет его здесь для меня! Мой здравый смысл включается с большим опозданием, чтоб сказать мне об этом.

Я хотел бы выучить армянский, будьте добры. Нет, не в следующем году, не завтра — сейчас, сию минуту. Неужели никак нельзя? Очень нужно, пожалуйста! Невозможно? Немыслимо? Что за чушь, что за нелепость! И какое унижение, какая обида — на все времена, никогда не утешиться...

— **А пишешь... ты... на какой?** — спрашиваю я, приходя в себя.

— Нет-нет-нет! — мотает он головой. — Только рукой, иначе не могу. Другой ритм, другая проза. Рука должна сама...

И вдруг осекается и опускает голову.

— Ладно, что обо мне. Не стоит. Со мной все ясно.

Я смотрю с удивлением. Чего это он?

Мощный лоб, туго обтянутый кожей, развитые брови, лицо крупное, сужающееся к подбородку, твердая линия худых скул. По китайской системе «чтения лиц» — натура художественная, эмоциональная, с большой творческой энергией, но и с обостренным чувством трагического. На процветающего литератора он не похож. Ну и прекрасно. Но какая тяжесть у него на душе?

Неожиданно он вновь оживляется.

— Расскажи-ка лучше о нашем друге. Как он там? Часто его видишь? Здоров? Работает? Как настроение?

Грант берет в руки книгу, из тех, что я передал, листает.

— Вот это он написал блестяще. И это тоже прекрасная повесть. А эту (опять не меняя интонации) я не люблю, она формальна. Да! И последняя вещь замечательна. Я завидую ему, он счастливый человек. Он думает, просто думает — и это уже литература.

— Да, это точно. Но и ты тоже, — говорю я ему, с удовольствием, но и не без нажима приучая себя к этому ты. — Тут все дело в различном мышлении. Ты тоже просто думаешь -- и это литература. Но мышление твое иного плана, иного характера, оно более предметно и материально. У тебя не мысль выражается в слове, а предмет: человек, животное, дерево, дом. Но поскольку они у тебя не пусты, а содержат душу, то и умершие в своей материальности, перешедшие в слово, выраженные в нем, они эту душу в нем сохраняют. Душа их бессмертна. Чего больше желать творцу?

— Не знаю, — говорит он. — Может быть, так... Все равно, положение мое безнадежно.

Опять! Этого я никак не понимаю. Мне импонирует его пессимизм, но все же я не чувствую его основы. Ведь не может быть, чтобы он рассуждал и об этом в близких мне категориях. Такой мысли я и допустить не могу. Но оказывается, что именно так.

— Мое положение безнадежно, — повторяет Грант. — Последний одинокий писатель у крохотного, вымирающего народа, с вымирающей, уже мертвой культурой. Писатель без читателя. Я знаю почти всех своих читателей — лично, заочно, или понаслышке. Мои читатели — это мои знакомые. Как ты думаешь, может писатель писать для своих знакомых?

Ужас. И полная для меня неожиданность — такое совпадение мыслей. Но одно дело — мои отвлеченные рассуждения, и совсем другое — его живая судьба. Так вот какую тяжесть -- всю, без иллюзии и скидок — он несет в своей душе постоянно!

Что-то надо сказать, не просто посочувствовать, а как-то основательно возразить. И я хватаюсь за мысли Сергея о его, Гранта, месте в армянской прозе, о его значении для будущей литературы — и излагаю их, как могу. Он заметно светлеет.

— Кто его знает. Кто может предвидеть будущее? Все в руках Божьих. Надо работать, надо много работать, иного выхода у нас нет...

— Кстати, — говорю я, — насчет читателей. Уж в России-то у тебя их достаточно. И вполне незнакомых.

Я рассказываю ему о звонке из Киева. Он не скрывает своего удовольствия.

— И что, — смеется, — ты действительно сразу понял, о ком идет речь?

— Ни минуты не сомневался. Как я мог сомневаться, когда...

У тут я разворачиваю уже свой собственный большой дифирамб, несколько выходящий за рамки вкуса и меры, но уместный, я в этом убежден и сейчас, вполне уместный в разговоре с художником, с человеком, **написавшим книгу**. За эту реализованную невозможность, и за трату, превышающую все запасы, — велика ли за это любая плата? Любая мала, никакой не надо, но грех не поддержать, не сказать похвалы, если есть хоть малейшее к тому основание. Грех утаить, не вернуть хоть частицу тепла и света. И тут, как впрочем, и всегда в жизни, лучше передать, чем недодать.

— К чему я все это? -- говорю я Гранту. — К тому, что есть у тебя читатель в России, и значит, напрашивается вопрос: как ты относишься к переводам?

Матевосяна переводит Анаит Баяндур, переводит, по-моему, очень достойно. Хороший русский язык, подвижная, гибкая проза, с некоторой естественной стилизацией, но без злоупотребления инверсиями и акцентами.

— О-о, плохо! — восклицает Грант и закрывает лицо ладонями, и не сразу отнимает их от лица. — Плохо, Юра, — повторяет он, — плохо! Я не знаю, мне трудно судить, может быть, иначе нельзя, быть может, то, что делает Анаит, — это как раз предел. Но ее книги — это ее книги, и если они нравятся русскому читателю, то я желаю ей всяких благ, но моя заслуга тут минимальна. Анаит — умница и талант. Но я пишу **тяжело**, у меня тяжелый, трудный язык, а она — скачет и резвится. Нет, это не я...

Такая опять неожиданность. И опять мне безумно приятен его максимализм. Все правильно, не может настоящий писатель чувствовать себя автором иноязычного текста. Конечно, это не он. И все же я вынужден сделать скидку, как-то снизить, перечислить его слова, воспринять их, скажем, метафорически. Потому что иначе выходит что же? Выходит, что я его не читал? У меня же есть чувство, и я ему доверяю, что я все-таки читал Гранта Матевосяна. Что при всей невозможности перевода, еще более на взгляд очевидной, чем невозможность первичного творчества, нечто главное, вложенное Грантом Матевосяном в его непонятную армянскую книгу, перешло ко мне из книги Анаит Баяндур. И быть может, лучшее подтверждение моей правоты — это то, что сидящий передо мной человек во всех основных чертах совпадает с тем образом автора, который возник у меня при чтении. Я понимаю, что просто мне повезло, что это не такой уж частый случай, но он важен мне не только сам по себе, а еще того больше — как явление, которое если и не устанавливает закономерности, то хотя бы подрывает другой, противоположный ряд.

Помните, как у Сэлинджера рассуждает пятнадцатилетний Холден:

...А увлекают меня такие книжки, что как их дочитаешь до конца — так сразу подумаешь: хорошо, если бы этот писатель стал твоим лучшим другом и чтобы с ним можно было поговорить по телефону, когда захочется. Но это редко бывает.

Это редко бывает, Холден прав, но еще реже бывает, что если даже случилось такое, и ты захотел позвонить писателю, ты услышишь тот самый голос, который хотел услышать. И если ты с этим человеком когда-нибудь встретишься, то еще неизвестно, захочешь ли подружиться. Пока Аполлон не требует поэта, поэт бывает сущим чудовищем. И даже существует такое мнение, что это закономерность и необходимость, и чуть ли даже не залог таланта, уж во всяком случае, неперемное следствие. И что чем выше и значительней творчество, тем дальше в авторе личность творца отстоит от личности человека.

Не дай-то Бог, чтобы все это было так!

Я не верю в талант как способность сокрытия и трансформации, и не верю в творчество как искупление жизни. Я не знаю, чем искупается жизнь, быть может, ничем, но только не творчеством. Острота чувств, чистота помыслов, доброта, ум и главное, совесть, не могут рождаться лишь в акте творчества и жить лишь в воображаемом мире. Они исходно должны существовать в человеке, до того, как он сел за письменный стол. Так я хочу и так я верю.

И если я прочел и полюбил какую-то книгу, что означает, полюбил ее автора, то есть тот его образ, который возник у меня при чтении, то я уверен, что полюбил бы его и в жизни, захотел бы, чтоб он стал моим лучшим другом и чтобы я мог ему позвонить, когда захочу. А если бы я разочаровался после этого, то это бы значило, что я плохо читал.

Грант Матевосян был именно тот писатель, которому я хотел позвонить.

И вот ты сидишь передо мной, Грант, и я рад и благодарен тебе бесконечно, и **что бы ни было вперед**, буду всегда благодарен. Ты, сам не зная того, поддержал меня в очень трудный момент, потому что, видишь ли, Грант, одно дело верить, другое — видеть и знать...

4.

Нас зовут в гостиную, мы переходим, я сажусь на тахту за журнальный столик, и с этого момента все мое зрение и все внимание ограничены узким конусом

высвечиваемого пространства, куда вмещается лишь этот столик — и Грант, сидящий напротив. Больше я ничего не вижу, ни размеров комнаты, ни обстановки, ни сколько окон, ни что на стенах. Гранту дали в руки кофейную мельницу (в Ереване у всех — только ручные), он мелет кофе и задает мне первый серьезный вопрос: чем я занимаюсь, кто по профессии. Что мне сказать? Я не знаю, насколько ему это важно, скорее всего, простая вежливость, да еще — уточнение координат, чтоб яснее видеть, к кому обращаешься. Но мне-то, мне-то как раз это важно безумно! И не только вообще, как суть дела, но еще и потому, что Грант Матевосян — это, если быть до конца откровенным, тот единственный человек, к которому я ехал из Москвы в Армению, я — подлинный, я — настоящий, а не тот, за кого я себя выдаю. И вот я сижу перед ним и молчу. Что мне сказать?

— Инженер... — вяло говорю я Гранту, и больше мне не хочется разговаривать. Все. Хоть сейчас домой. И в Москву, а не к Цогик Хореновне.

Но Грант смотрит мне прямо в глаза, воспаленно и остро, и как бы не слыша моего ответа, задает следующий вопрос.

— Скажи, Юра, — спрашивает Грант, — у тебя есть публикации? Вышла книга?

Облегчение, но и новая сложность. Как в том анекдоте про милиционера: книга у него уже есть... Мне смертельно не хочется отвечать отрицательно. Пропасть между этими «да» и «нет», даже для умного человека, знающего истинную ценность вещам. Но, с другой стороны, можно ли с ним говорить о **тех** публикациях? **Тот мир** — существует ли для него? Вот она, культурно-языковая граница. Ведь я не сомневался бы в разговоре с русским писателем. Что с писателем — с любым нормальным человеком. Но здесь, в Армении... кто их знает? Вдруг вот сейчас я скажу... и увижу холод и отчужденность и даже что-то вроде опаски. Страшно подумать. И я отвечаю:

— Нет... Практически, нет.

Грант улыбается, трясет головой:

— Ну да, ну да...

Кажется, он понял гораздо больше, чем я сказал. Вообще, несмотря на скованность собственной речи, понимает он, должно быть, абсолютно все, и я это чувствую и становлюсь свободнее, и только теперь отмечаю, что вначале невольно упрощал построение фраз. Важинэ приносит нам кофе, Грант открывает коньяк, кивает жеще: да-да, немного, только за встречу. Он наливает себе вполовину, мне — вдвое, и я не отказываюсь, хотя чувствую, что легко могу опьянеть, при таком возбуждении. Отчего-то мне очень хочется есть, но конечно, какая сейчас еда, в одиннадцать вечера, — даже если это **дом, где кормят**. А таков ли еще в действительности этот дом, мне бы тоже очень хотелось узнать...

5.

Это ведь не случайная характеристика, не просто одно из возможных качеств, это два различных мира: дом, где кормят, и дом, где не кормят. Когда мы, в нашей полуголодной стране, сажаем гостя за стол, едва он снимает пальто, и выкладываем все, что есть в холодильнике, то это, конечно, национальный ритуал. — но это и выражение доброжелательства, предельно доступное в данный момент, и приглашение к раскованности и простоте.

Кормить входящего — простонародный обычай. Я имею в виду не образовательный ценз, а общую простоту уклада, открытость и естественность отношений, а если ценз, то скорее имущественный. Наблюдается странная закономерность, с далеко не частыми исключениями: чем богаче дом, в который идешь, тем меньше вероятность, что тебя пригласят к столу. То ли все богатые считают копейку, оттого они и богатые, то ли по своим материальным возможностям чувствуют себя уже на Западе и усваивают именно этот его обычай, то ли просто теряются — и такая приходит сумасшедшая мысль — теряются от неограниченных своих возможностей и просто не знают, чем угостить. «Скажите честно, вы голодны? У меня, как назло, шаром покаги». Так говорят наиболее совестливые и означает это: «Извините, такой уж я жмот и лентяй». И еще это означает, что

общение будет светское. Никаких откровений и излияний. Обсудим международное положение, деловые вопросы, если они имеются, затем — пару легких сплетен и политических анекдотов без мата, и расстанемся теми же, кем повстречались. И вы честно отвечаете, что не голодны, совершенно, ни капельки, абсолютно, никогда не были и не будете, так наелись, что уже навсегда...

В лучшем случае вам предлагают чай. С тортом, который вы принесли, потому что бутылку было неловко, вроде как напрашиваешься на закуску. Во время предшествующей беседы много раз и со значением повторяется: «Сейчас будет чай!» Вы не знаете, то ли надо громко радоваться, то ли отказываться, то ли не замечать, и исполняете все это по очереди. Затем вас, наконец, зовут, вы переходите в большую гостиную, где ваш торт затерялся на огромной площади нарядного стола, среди бесчисленных тарелочек, блюдец, чашечек, ложечек, вилочек и еще каких-то орудий культуры быта. Нет, торт не одинок, неправда, как вы могли такое подумать. Симметрично присовокуплены две прекрасные вазочки, одна с сахаром — конечно, рафинад, чтоб лежал, как камушек, в холодном чае, а чай-то уж точно будет холодным, — и другая, с декоративными карамельками. Чай приносят с кухни, и он, конечно, холодный, зато и некрепкий. Рафинад рукой безусловно нельзя, а ложечкой трудно, а специальная механическая блестящая лапа — ну ее к дьяволу, лучше не трогать. Значит, пьем несладкий. Торт тоже — неизвестно, как его есть, и лучше бы вовсе не есть: противный и мокрый. И вообще, ненавижу эти торты, себе бы домой никогда не купил, просто нечего было больше придумать. Вам предлагают налить еще, и вы соглашаетесь, не сидеть же вот так над пустой чашкой. Но это — самоубийственная уступчивость, потому что вам вовсе не хочется чаю, а даже совсем напротив. Подлость, всегда настаивает в такой принужденности, так что и первая чашка была уже лишней, а вторая может стать роковой... И когда вы, раскланявшись, наконец, вылетаете и мчитесь к метро — то кроме главного, доминирующего желания, вы испытываете и еще кое-что. Вам хочется кинуть камень в стекло киоска, или взять и плюнуть в лицо прохожему, или хотя бы встать и завить по-волчьи.

Вы скажете, что все это преувеличено, что можно и без всякой еды прекрасно общаться с людьми и, с другой стороны, помирать с тоски за обильной жратвой. Но это возражение так формально и так поверхностно, что я даже не хочу его обсуждать. Ясно ведь, о чем разговор, так чего ж занудствовать?

6.

Дом Гранта Матевосяна был, конечно же, домом, где кормят и даже в одиннадцать вечера. Мы выпили с Грантом по рюмке, запили кофе, и тут принесли нам курицу с рисом, и это было то, о чем только можно мечтать. И вот мы сидим и едим прямо так, за журнальным столиком, разговариваем и попиваем коньяк. «Хорошая курица, — говорит Важинэ, — его мама из деревни прислала» — и я вспоминаю повесть о том, как мать везет продукты горожанину-сыну; кур, мацун и шесть сотен яиц, чтоб не сохли мозги от умственной работы. «Да-да, — смеется Важинэ, — и мацун тоже прислала. Вы, наверное, не пробовали настоящий мацун, в магазинах — это вообще не мацун, поешьте, я потом обязательно дам вам попробовать. Нет-нет, я сама уже ничего не могу, мы ведь ужинали, но Грант за компанию может еще, такой прожорливый, куда только все уходит...»

Мы говорим о всяком, о разном, и в частности, о деревенской прозе, к которой младенческая наша критика, естественно, причисляет и Гранта. Мы сходимся на том, что среди русских «деревенщиков» два-три заслуживают всяческого уважения, это талантливые и честные люди, по крайней мере, в некоторых своих произведениях, по крайней мере, в одном, и на том спасибо. Но все это не имеет никакого отношения к Гранту.

— Хорошие писатели, — говорит Грант. — Я желаю им всяких успехов. И завидую им: они счастливые люди...

Та же формула, что и в нашем друге, но уже совершенно иной смысл. Нет, все это не имеет к нему отношения, и не только потому, что русская деревня ма

но похожа на армянскую деревню, тут различия более глубокие, и литературные и человеческие

Только прочитав повести Гранта, я понял, что прежнее мое отношение к современной деревенской прозе не было свободно от известной скидки. Правда жизни, выступавшая, как правда поступков и слов, — вот предел, к которому могли стремиться, и которого порой достигали здесь авторы. И казалось, что этот предел продиктован самим материалом, что чего ж еще требовать от писателя, когда вот она, деревенская жизнь, не приукрашенная ударническими бреднями, патристическим бескорыстием, колхозным изобилием и отеческой мудростью секретаря обкома, а как есть, тяжелая до неподъемности, непонятно чем преодолеваемая, одной лишь непостижимой крестьянской живучестью. Но на этом и кончалась непостижимость, здесь обрывался путь в бесконечные глубины души. Эту безмерную глубину и сложность, эту ускользающую тонкость душевных движений в «человеке земли», его **духовную полноценность**, безо всяких, пусть даже лестных скидок на естественность и отсутствие рефлексии — Грант Матевосян показал впервые.

Я не устану и не забуду выражать благодарность нашим лучшим деревенщикам за правду жизни, так непросто добываемую, за правду труда и страдания. Но Грант Матевосян — писатель другой категории, и нельзя отнести его к этой. Он просто принципиально занят другим делом. Подлинность поступков и взаимодействий у него как бы подразумевается сама собой, она безусловна и не есть предмет разговора. А предмет разговора Матевосяна с читателем — это внутреннее состояние его героя: настроение, восприятие, ощущение, мотивация — во всех тонкостях этих понятий, именно во всех, ни больше, ни меньше, поскольку есть постоянное ощущение их неуловимости и бесконечности.

Нам, например, при чтении важно почувствовать, что автор знает несравнимо больше, чем говорит, что он знает попросту все о данном предмете. Но еще важнее для нас уверенность, что автор **чувствует** происходящее, и не только в том смысле, что лично причастен и кровно заинтересован, но чувствует, опять таки, в се — все нюансы, все стороны, всю многосмысленность действия и весь бесконечный спектр реальных и возможных ощущений героя. Матевосян именно такой автор. Текучая, подвижная емкость его прозы вмещает не только сугубую предметность, свободную от всякой идеализации, ощутимую до озноба, до шершавости земли, до температуры тела и тембра голоса, но и нечто неизмеримо большее: душу человека, его божественную сущность. В тех сферах ничего нельзя утверждать, а тем более, ни на чем нельзя настаивать, но при всем отсутствии в прозе Матевосяна провозглашенной, декларированной духовности только такими непривычными словами хочется о ней говорить: Божий человек, Божий мир...

— Я желаю им всяких успехов. И завидую им: они счастливые люди.

Мне кажется, я понимаю, что он хочет сказать. Здесь нет двусмысленности и подначки, наоборот, спокойная доброжелательность и привычная жалоба на сложность своей судьбы, на трудности собственного пути, не им самим, по сути, избранного...

Мы немного перебираем современных писателей, и мнения наши, в основном, сходятся. Грант называет двух зарубежных армян, но я их, конечно, не знаю, затем Сароляна, и я делаю вид, что знаю, и тут же прощаю себе эту ложь, потому что это лучше, чем так его огорчить. Про себя же я думаю, что значит, верно — армянский писатель, кому же судить, как не Гранту...

7.

Мы как-то переходим на детские книги, а с них — на детей. А дети — вот они, давно уже тут как тут. Двенадцать часов, и завтра обоим в школу с утра, а они сидят как ни в чем не бывало и очень внимательно слушают. И даже участвуют, поправляя время от времени то папу, то маму. Важна сама учительница в школе, армянский язык и литература, видимо, она знает цену грамматике и повторяет слова с удовольствием, улыбаясь и согласно кивая детям, но немного сер-

дится, когда они поправляют отца. Мне особенно приятно, что тоже двое и примерно такая же разница в возрасте. Ко всем моим чувствам прибавляется и это: солидарность с родителями, для которых дети — самое главное в жизни; все-таки дети, а потом уже все остальное. Я чувствую, что здесь это именно так, да Грант и говорит мне об этом прямо — тихонько и коротко, чтоб они не услышали.

Дети учатся в армянской школе с английским уклоном — очень мне нравится это сочетание. И вообще, хорошо, что не в русской, как это принято у здешних новоиспеченных интеллигентов. Мне рассказывал Сергей, что это просто бедствие для Армении. Детей стараются отдавать только в русские школы, потому что это облегчает дальнейшую учебу и все последующее продвижение. Все равно ведь они в быту разговаривают по-армянски и, значит, будут знать два языка. На самом деле получается наоборот. В русских школах преподают с армянским акцентом, а в быту не читают и не пишут по-армянски, и люди выходят, в конце концов, полуграмотные, не приобщенные ни к тому, ни к другому, по сути — люди без языка. Все это, видимо, знают и учитывают в этом доме.

Армянская школа с английским уклоном... Говорят, армяне способны к языкам, армянская грамматика развита и сложна, семь падежей, восемь склонений, а фонетика включает звуки почти всех европейских словарей. Тридцать девять букв в алфавите — недаром так много!

С английским уклоном... Может быть, и Вильям Сароян — армянский писатель с английским уклоном? Или английский писатель с армянским уклоном? Нет, тогда уже так: американский писатель с английским языком и армянским уклоном. С Грантом все-таки проще, никаких уклонов, чистый армянин.

Ну, а я кто такой?

И тут он как раз об этом спрашивает, что-то задержался, давно бы пора. Я отвечаю без малейшего вздрoga, хотя и отмечаю опять эту легкость, спасибо, в который раз мне так просто это сказать в Армении, гораздо проще и легче, чем даже сейчас написать... Грант улыбается, он приветствует меня еще раз, уже в новом качестве. Он говорит о сходстве культур и судеб, о корнях, о древности, о трагизме, о стойкости национального духа. Тема эта для меня не нова, но он излагает ее так вдохновенно, — и это ведь все на чужом языке! — что я чувствую себя не на шутку захваченным. Я смотрю на прекрасное его лицо и думаю о том постоянном внутреннем пламени, которое сжигает этого человека. Здоров ли он физически? На вид крепок. Крестьянин в детстве, спортсмен в студенчестве. По некоторым репликам, брошенным по-русски, по еще каким-то мелким признакам чувствуется, что все-таки не вполне. Человек, живущий такой самоотдачей, не может быть абсолютно здоров, чего я хочу? А хочу я немногого: пусть он будет настолько болезнен, чтоб с высокой остротой воспринимать окружающее, но и настолько здоров, чтобы жить долго и без страданий...

— И христианство! — говорит он. — Наше христианство — почти из первых рук. Армянская церковь, как, быть может, никакая другая, сохранила библейскую традицию и ветхозаветную преемственность. Это видно даже по внешним атрибутам, по обряду — ты еще обратишь внимание.

Он спрашивает об общих впечатлениях. Я говорю ему примерно то же, что говорил Володе. Ереван — не нравится. («Ужасный город! — он хватается за голову. — Ужасный, ужасный! Это просто вообще не Армения.») Но армяне мне нравятся и даже очень. Нет, я встречал уже и глупых, и злых, и лживых. Но это не меняет моего впечатления. Не могу точно сказать, в чем тут дело, все слова, какие скажу, будут не те. Ну, может быть, так, что есть чувство общения с чем-то цельным, как бы с человеком, в котором присутствуют разные качества, и дурные и добрые, но в общем-то это человек замечательный, благородный, умный, одухотворенный. Странная вещь, я не чувствую ни малейшей отчужденности. Наоборот, я, мне кажется, во всех, даже самых незначительных проявлениях и даже не в самых лучших, угадываю душу этого народа, его общенациональную личность, и она бесконечно мне импонирует...

Он кивает, да-да, он понимает меня. Я спрашиваю Гранта, где же Армения, если не в Ереване, то где? Быть может, в Кировакане? Нет, кроме шуток, где же? Очевидно, в горах, в деревне?

— Не знаю, — говорит он задумчиво. — Я теперь и не знаю, где Армения.

Да, скорее была в деревне, дольше всего держалась. Но деревня тоже испортилась, все потеряла. Она стала какой-то пустой мещанкой, как город. Нет Армении, Юра, где ни ищи, есть только наша тоска по Армении!

— Но ведь это везде, — возражаю я. — Утрата первородства, потеря облика, это повсеместно, да в той же России...

— Нет! — он мотает головой. — Не везде одинаково. Для армян, как ни для одной нации в мире, оказался губительным отказ от религии. Христианство для армян было всем, а не просто многим. Ведь Армения — первая страна в мире, где христианство стало государственной религией. Армяне как будто только ее и ждали, были к ней абсолютно готовы. Церковь стала государством, школой, наукой, литературой, культурой. Божий храм оставался для армянина духовным и организующим центром даже тогда, когда он утратил это значение для всех других христианских народов. Даже в национальной жизни поляков церковь не играла такой исключительной роли. Но поляки с честью пронесли свое католичество через все катаклизмы, а армяне оказались духовно слабее, не выдержали, отказались — и остались ни с чем. И кому-кому, а им это с рук не сойдет. Я не знаю, не знаю, сохранимся ли мы теперь как народ, только чудо нас может спасти...

Он некоторое время смотрит куда-то в сторону, а когда снова поворачивает ко мне лицо, то слезы, настоящие слезы стоят у него в глазах. Что за человек!

— Ну-ну, сел на своего конька, — ворчит Важинэ. -- Ешьте, пожалуйста, он вас заговорит, эта тема у него неисчерпаема.

Я пытаюсь как-то возразить Гранту, я говорю о тайне национального духа, об удивительной его стойкости и изворотливости. Ведь вот же он говорил о родстве судеб армян и евреев, а евреи как раз — хрестоматийный пример сохранности нации вопреки всем разрушительным факторам. Хотя у евреев, в отличие от армян, по сути, нет современной национальной культуры... «Как так можно говорить!» — вскидывается Грант, и теперь уже он меня утешает, хотя не могу сказать, что я очень расстроен. Разговор становится немного вчерашним. Мы оба сообщаем друг другу то, что подумали когда-то прежде и даже сказали давно и не раз. Грант замечает это не позже меня, он останавливается и наполняет рюмки.

— Выпьем, Юра, — говорит он, — выпьем за Литературу! Она одна осталась еще в этом страшном мире, единственное наше прибежище и утешение.

Мы пьем, и он спрашивает меня, где я был, что видел.

— Машину! — хлопает он себя по колену. — Надо машину. А где ее взять? Мне сейчас ну просто некого попросить. Без машины разве много увидишь?

— Ничего, — говорю я, — не волнуйся, мне так даже лучше. В машине ездить — как раз ничего не увидишь. Я предпочитаю автобус. Меньше удобств, меньше подвижности, зато насколько больше узнаешь о людях. То ты их видишь как на экране, из окон отдельного комфортабельного мирка, и даже если выходишь на свет Божий, то чувствуешь этот свой мирок позади себя, и поглядываешь на него непременно, хотя бы внутренним взором, и всегда готов вернуться назад. И везде ты временный гость, посторонний зритель, никакие внешние условия для тебя не обязательны, ты и не воспринимаешь их всерьез, потому что дом твой — вот он, поблескивает на обочине. А то ты купил билет и поехал, как все, как какой-нибудь там старичок в шляпе или женщина с ребенком, ты живешь одной с ними жизнью и даже если не перемолвишься словом, ощущение общности у тебя останется, ты их уже как бы отчасти понял. И если ты пойдешь погулять на остановке, то между тобой и местными жителями тоже будет не такая большая дистанция, они вполне могли бы сойти с автобуса, а ты бы мог сидеть на скамейке. А главное, уж если дом твой там, далеко, ты оставил его и приехал сюда, то ты действительно здесь и больше нигде, и нет у тебя никакой лазейки или уловки. Ты не просто смотришь и слушаешь, ты здесь живешь...

— Да-да. И все-таки, — смеется Грант, — была бы машина, ты бы не отказался.

— Это, — говорю я, -- другой вопрос. Не отказался бы, конечно, слаб человек. А у тебя, значит, машины нет. А была?

— Не было и никогда не будет.

Я не спрашиваю, почему, но согласно подхватываю:

— И не надо! И ни в коем случае!

Он озадачен, смотрит с живым любопытством.

— Ну-ка, а ты почему так думаешь?

— Да все потому же, — говорю я, — все потому же. Есть предел удаленности от общества, в котором живешь, и этот предел — именно здесь. Автомобиль — это не просто имущество, пусть дорогое. Это материализованный итог и символ, это возможность в стране невозможностей, воплощенная мечта народных масс, вожденная Шинель советского быта. Всякий достигший — уже иностранец, не здешний житель, не наш человек. И для писателя это не может пройти бесследно. Я всерьез думаю, что многими ненаписанными произведениями, а также написанными, но не теми, мы обязаны собственному автомобилю...

— Интересно, — улыбается Грант. — Но уж слишком серьезно. А сам ты, будь у тебя деньги, неужели удержался бы, не купил?

— Купил бы, наверно, что я, лучше других? Я же говорю, слаб человек, это и грустно.

— Ну что ж, если ты и прав, то не вполне. Во всяком случае, есть исключения. Ну, одно уж — наверняка.

Он приводит пример, хорошо известный нам обоим.

— Да, это так, — говорю я. — И все-таки. Не знаю, — говорю я, — может быть, в данном случае. И вообще иногда. Хотелось бы. Дай-то Бог!

Детям просто катастрофически пора спать, они зевают во весь рот, но не трогаются с места, и выходит, что все это из-за меня. Я, конечно, польщен в какой-то степени, но ведь и совесть надо иметь. Когда я уже стою и готов к выходу, Важинэ приносит мне миску мацуна. «Это вы непременно должны попробовать, это тоже от мамы, прямо из деревни, больше ведь вам нигде не доведется». Есть надо ложкой, густая масса, и действительно, очень вкусно, ничего общего с магазинной кислятиной. Я дохлебываю уже на ходу и тянусь к двери. Родители отдают последние указания детям, я различаю многократные повторы одних и тех же оборотов — как это знакомо! — и спускаются меня проводить. Мы проходим втроем по нашей общей улице, ярко светят звезды и фонари, а может быть только звезды, но как же тогда фонари? — и останавливаемся у моего подъезда.

— Передай нашему другу, — говорит на прощанье Грант, — что повесть, которую я пишу, называется «Божий свет — свет моей Совести».

— Он у нас теперь — как Лев Толстой, — смеется Важинэ. Она в черном пиджаке Гранта, он в одной белой рубашке, бережно обнимает ее за плечи. — Он теперь у нас как Лев Толстой. Пишет на темы морали и называет полными предложениями.

— Обязательно передай, — серьезно повторяет Грант. — Потому что когда вы ее прочтете, она будет называться совсем иначе. А на самом деле именно так: «Божий свет — свет моей Совести».

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ТОСКА ПО АРМЕНИИ

1.

Я знал заранее, что встреча с Матевосяном будет центром моей ереванской жизни, так я был настроен, и так оно, конечно, и вышло. Все дальнейшее и в дальнейшем — все окружающее воспринимал я как бы под знаком Гранта, и если что-нибудь мне не нравилось, то я говорил себе: «А все-таки — Грант!» — а если что-нибудь нравилось, то думал: «Ну конечно, как же иначе, вот ведь и Грант!..»

Я еще позвонил ему пару раз, но как-то все опять неудачно, то ли не было это, то ли был он занят, и я решил, что видимо, и не надо. Не надо вытягивать у судьбы больше, чем она сама отпускает, вытянешь силой — окажется вовсе не то, что хотел, а уже оно будет в руках, никуда не денешь...

Повседневная наша жизнь тоже пошла иначе. Мы решили с Олегом работать по-ознь, он — на халтуре в химиконическом, я — на госслужбе в гео-био, у Ми-

ши. Это очень повысило мой жизненный тонус, не говоря о производительности труда. Мы расставались утром на углу у булочной и шли в разные стороны, и это было прекрасно. Я шел прямо или сворачивал — не обсуждая, направо, налево, не решая вообще никаких вопросов, а просто шел, как мне хотелось, ни на что не отвлекая своего внимания, ни на вызванные, ни на выбранные разговоры, смотрел по сторонам, вбирал и чувствовал, и думал, сколько было душе угодно. Погода стояла совсем чудесная, днем в пиджаке становилось жарко, утром же дул резковатый ветерок, приятно освежавший и оживлявший. «Ветер с гор» — хотелось о нем сказать, да наверное, он и был с гор, откуда же еще, когда кругом горы? И конечно, на работу я не спешил, звонил Мише из автомата, чтобы он запустил очередную кривую, и имея в запасе два-три часа, со спокойной совестью уплывал налево, что, впрочем, могло означать и направо. Прогуливаясь, я проходил все знакомые улицы, это я еще как бы шел **куда-то**, затем, оказавшись на незнакомых, уже прогуливался **просто так**, и это и было моей целью. Такая не-обязательность и беззаботность, не то чтобы мне не слишком привычная, но просто не помню, когда и испытанная, освежала душу не хуже горного ветра. Непонятная речь прохожих не вызывала тоски отчуждения, я ведь знал, что могу спросить и меня поймут, наоборот, подчеркивала исключительность моего состояния. Иногда лишь я вдруг удивлялся: как это все вокруг говорят, ну о чем бы это можно — непрерывно и в стольких лицах? Но тут же, отодвигаясь, представлял себе холодно, о чем обычно говорят в толпе, и искренне радовался, что не понимаю ни слова. Иногда я поглядывал на часы, все же и тут не так уж свободен, вот прошлялся уже половину времени и надо обратно, если я не хочу в автобус. Я не хочу.

Открытых магазинов еще мало, и разнообразия обратный путь, я захожу в обувные торговые павильончики местной фирмы «Масис». Эта фирма проявляет чудеса изворотливости: голландские подошвы, армянский верх, все это склеено русским клеем, и если не рассматривать чересчур пристально, то просто французская модельная обувь. Цены, разумеется, соответствуют. Но это и правильно, чего стесняться. Любопытно другое: как им удалось провести эту волюницу, обойти законы и добиться новых. Ведь вот заходишь в магазин — и как будто ты в каком-нибудь Загребе. Тебе с готовностью покажут все, что имеется, а если нет твоего размера, то зайди завтра, нет, послезавтра, в то же время, всего доброго... Дух запретного предпринимательства витает над Советской Арменией. Вот еще и киоски галантерей, тоже с подозрительной какой-то продукцией, явно участвующего происхождения. Но тут уж качеством не похвалишься, рассчитано на неразборчивых провинциалов, на темных кормильцев-поилцев с гор...

Проходя мимо этих киосков и лавочек, я подумал о странном таком противоречии. Я ведь не откуда-нибудь со стороны, я с детства, по самым близким контактам знаю всех этих честных деляг, добывающих свои законные тысячи в обмен на беспардонных наших законов. Ну не армян — евреев, русских, какая разница. Я вполне им сочувствую, я их понимаю — но не выдерживаю с ними никакого общения. Был момент, когда это меня встревожило. С чего это мне быть таким чистоплоем? Я стал при всех удобных случаях приглядываться то к одному, то к другому, уже как бы сбоку, под новым ракурсом, и обнаружил, что все они сплошь — уроды. Ухватываясь за шестеренку стальной машины, вращая ее тайно в другую сторону, они калечат себя еще больше, чем те, кто бездумно движется в общем кружении. И дело тут не в обычном свойстве противостояния, неизбежно родящего с тем, кому противостояишь. Дело в том, что подпольные коммюнсэиты вообще ничему не противопоставят, а совсем наоборот, активно используют все то, что мы терпим, сокрушенно и бездеятельно. Поговорите с любым из этих преступников, с ежедневным нарушителем и подпольщиком — вы увидите, что он правоверен, как старший сержант, и благонадежен, как начальник отдела кадров, а если где-то и критикнет, то сделает это так не попадая и по-свински, что вам захочется тут же вступить за бедную многострадальную вашу родину, и вы вывалите что-нибудь несусветное, и будете долго метать этот бисер под насмешливое и снисходительное хрюканье...

И вот я гуляю по Еревану и на каждом шагу, в павильоне, в киоске, в буфете, в кафе, в раскрытых дверях кустарных цехов, бесчисленных сараечников, раз-

бросанных по городу, — вижу признаки частной инициативы. Дух разрешенного предпринимательства витает над Советской Арменией. И казалось бы, я должен его приветствовать, я и приветствую, как могу, но — абстрактно, отвлеченно, как категорию, а не как совокупность определенных людей. Людям же этим — я не доверяю. Я уже не раз обжигался и не испытываю к ним никакой симпатии, и хотел бы, да не могу. И кто виноват? Россия-магушка, крепка твоя лапушка... Ах ты мать наша, мать, думаю я, ты как та безумная баба в рассказе у Мопассана: если и почувствуешь в своем чреве нечто живое и теплое, то так его сдвинешь еще до рождения, что родишь заведомого уroda...

2.

Когда я возвращаюсь на центральную улицу, у меня еще остается время, еще не пора, не пора. Я, собственно, знал, что оно останется, и нарочно себя तोпил и обманывал, и теперь еще минут сорок могу посидеть в кафе, на встроеной в толщу домов открытой площадке, попить кофе, почитать, подумать, поглазеть на окружающих и на прохожих. Время уже — после десяти, и прохожие на улицах и посетители кафе — это, главным образом, интеллигенты, в большинстве — люди свободных профессий. Но это я только могу догадываться, а такой смены лиц по часам, как в Москве, от похмельных рабочих к деловитым технарям, а от них — к неторопливым научным работникам, среди которых, бывает, встретишь иногда и **лицо** — такой смены здесь не отметишь, во всяком случае, нужна привычка. Здесь **лицо**, и порой просто поразительное, можно увидеть у мусорщика, у дорожного рабочего, у продавца огурцов. И вот стой и смотри на такого и мучайся: то ли и внутри он такой и в свободное время читает Канта и пишет музыку, то ли это бессмертный и щедрый дух мудрого, книжного и крепкого верой народа осенил его по ошибке... А быть может еще, что нет никакого Канта, черта ли в Канте, но нет и ошибки, и этот человек исполнен простых и великих достоинств, как например, добрейшая наша Цогик Хореновна?..

Я сижу в углу за одиноким столиком, поглядываю то вокруг, то в раскрытую рукопись. Здесь, на таком удалении от тех мест, где это было написано, возникает новый, остранный взгляд. Здесь текст как бы более беззащитен, привычная окружающая среда не образует вокруг него оболочки, и всякое слово есть только то, что оно есть, и кажется, что любая неточность вопиет со страницы и требует вычерка или замены. Полезная вещь — перемена мест, жаль, что она нам так мало доступна...

Все столики заняты, за каждым — по двое, по трое, но ко мне никто не подсаживается. Видят, что работает человек, так чего же мешать? Кажется, проще простого, яснее ясного. Однако, сядь-ка вот так у себя, в родимой столице. Сколько найдется рыл, чтобы влезть тебе в душу! Да и где-то ты там посидишь, с одной чашечкой за пятнадцать копеек — да на сорок минут?

Но сорок минут истекают, и я встаю с сожалением. Спасибо, мне было у вас хорошо, я еще надеюсь вернуться.

В автобусе тоже неплохо, когда ты один, и нет вынужденных разговоров. Грех говорить, Олег — замечательный парень, и порой я просто его люблю, но сколько же можно... В детстве кажется, что скука — это когда ты один и нечего делать. С годами все отчетливей понимаешь, что делать чего — всегда есть, а скука — это вынужденное общение. Зрелость наступает с того момента, когда начинаешь избегать знакомых на улице. Когда в первый раз, заметив в толпе сотрудника или соседа, ты не бросился к нему с радостным возгласом, а постарался незаметно отвернуться и смыться — вот это и был момент наступления зрелости. Иногда в связи с этим я думаю, а не в том ли отличие от нас Запада, не взрослее ли он попросту, вот и все?

Дорога, когда ты один, — совсем другая. Вот этот крутой поворот с интересным видом на город ты в прошлый раз пропустил, разговаривая. Вот это огромное дерево, сквозь листву которого, как сквозь дождь, зажуривав глаза, пронывает автобус, ты не смог почувствовать по-настоящему, потому что обдумывал дурацкий ответ на дурацкий вопрос. А безликость огромной пустой современной улицы, на которую ты, в конце концов, выезжаешь, в прошлый раз не вызвала в твоей душе такой постальной, такой животворной тоски одиночества — потому что ты был не один...

Я взбираюсь пешком на научную гору, крысы, ставшие мне уже привычными, выстреливают почти из-под ног, справа — ряд серых блочных домов, мужчина нырнул под калот машины, задралась рубашка, открывая неприятно лоснящуюся поясницу, слева тянется высокая решетка вивария, сверху — ясное небо и солнце, позади — отчетливый Арарат, обе гипнотические его вершины, впереди, чуть левее — свой, домашний, обыденный Арагац, на пути к нему — институт с прибором и Мишей. Барабан докрутился до сотни, мотор отключился, звенит звонок. Миша выключает и смотрит на дверь: где же это московский бездельник? Я тут, Миша, я тут, уже на подходе. Только теперь я вспоминаю, кто я такой, и зачем и куда иду.

Когда-то давно, на заре свой ремонтной карьеры, я начинал работу задолго, заранее, с вечера мучил себя над схемой, за завтраком проглядывал описание, а по дороге уж и думать не мог ни о чем другом. И на месте, не найдя неисправности сразу, с ходу, по первой же версии, — впадал в беспредельное отчаянье, проклинал судьбу и собственную бездарность, был уверен, что всё пропало, и уже, вместо принципа взаимодействия блоков, обдумывал, какую другую работу завтра же пойду искать.

С годами все это, конечно, прошло, я усвоил набор ремонтных прописей, краткий молитвенник позитивиста: что все, что сделано одними руками, другими может быть восстановлено; что одна неисправность — одна причина, а две — уже редкость, а три не бывает; и главное — что не бывает чудес, законы природы всегда соблюдаются, электроны не могут вдруг взбунтоваться, и если они как-то однажды направлены, то и будут двигаться в том направлении... Сама жизнь учит нас выживанию. Еще недавно ты выкладывался ежесекундно, выплывал на последних остатках воздуха — и вот уже, как старый пианист, полностью расслабляешься на всякой паузе и работаешь только в те промежутки, которые отведены для работы, а иначе — кто же выдержит этот ритм?

Я стою перед Мишей, еще с портфелем в руках, смотрю на мокрый, только что проявленный лист фотобумаги и с минуту, многозначительно гмыкая, пытаюсь понять, чего от меня хотят. Я не волнуюсь, я знаю, это пройдет, все быстро встанет на свои места, все завертится в нужную сторону. Сейчас я открою рот и скажу, что надо.

— Ну что ж, — говорю я, — олл райт, не зря мы вчера поработали, совсем другая картинка. Остается настроить генератор импульсов, чем мы сейчас с тобой и займемся.

Разумеется, мы работаем порознь, соединяясь лишь для некоторых общих дел. Я настраиваю генератор — Миша крутит кофе, я проверяю частоты — Миша варит кофе, я пью кофе — Миша пьет кофе, я включаю мотор — мы идем обедать, полтора часа у нас в запасе.

— С одним условием, — говорю я строго, — сегодня плачу я!

Он хитро улыбается в усы:

— Ну-ну, хорошо, хорошо.

И в буфете, сверх взятых мной огурцов и сосисок, набирает еще колбасы и случившегося сегодня сыра, и каких-то вагрушек и пирожков, и черт знает откуда появившегося, я и не видел, пива.

Он сидит со мной, но разговаривает с окружающими, лишь время от времени поворачиваясь ко мне, чтоб приветливо улыбнуться. Я приветливо улыбаюсь в ответ. Такое общение. Мне остается усиленно жрать, но и этого что-то не хочется.

На обратном пути я поднимаюсь к Сюзанне, но она как раз занята, какая жалость, двухлетний отчет, и статья уже три недели висит, шеф сказал, чтобы к понедельнику как из пушки, вот, пожалуйста, персики, угощайтесь, спасибо, я только что, но это ведь не еда, спасибо, пока, заходите, пожалуйста...

Вечером я разгибаю спину, выключаю прибор, надеваю пиджак, беру портфель, выхожу из комнаты. В вестибюле, в полумраке, при свете одного телевизора, Миша со стариком вахтером играют в нарды. Нарды действительно похожи на то, как я их себе представлял, не в деталях, но как-то в общем. Чего я не смог предвидеть — так это того, что в основе игра в кости. Что ж, на Востоке как на Востоке. Негромко урчит телевизор, погромче — вахтер, Миша — опять потише, на уровне телевизора. Прощальные улыбки, кивки, помахивания руками —

и я на свободе. По дороге, спускаясь к автобусу, я раздумываю, как мне убить вечер. Худший вариант — это домой. Чай, телевизор, обсуждение дел, разговоры за жизнь. Перед сном, на последнем дыхании — копание в схемах, планы на завтра. Уже в постели, в темноте — какой-нибудь нервный спор о политике, досада и ненависть к самому себе, прыжок с зажмуренными глазами в сторону, и конечно, попадаешь в литературу, и опять досада и принужденность, и дырявый баланс словаря... А потом, после примиряющей паузы, Олег читает свои стихи: «Среди забот и треволений я о тебе мечтал одной и у тебя искал спасенья, но ты не стала мне родной» и так далее и так далее, и я делаю вид, что сплю, и действительно сплю, и уже какими-то отдельными вздрогами слышу сквозь сон его неумный голос:

— А Юлия Друпина? А Вероника Тушнова?..

Самое лучшее — позвонить Сергею, погулять по городу, посидеть за кофе (сколько же я его выпиваю за день!), и никакой принужденности ни на минуту, а сведений, самых интересных, — выгон. Он знает буквально все про Армению и, в то же время, не лишен объективности, а напротив, лишен национальной узости, то и дело ставящей границы юмору. С ним у меня нет опасений выпалить что-нибудь не так, не в строку, проявить невольный, так сказать, шовинизм или, допустим, пренебрежение. Он знает прекрасно, что во мне этого нет, значит, не может быть и в моих словах, как бы на слух они ни звучали.

Мы сидим с ним за столиком, вечер, уютно, тепло, трудно представить, что это уже октябрь. Кофе давно уже выпит, и надо бы еще по чашке, но идти и просить в окошко — напрасный труд, потому что буфетчица занята: какие-то парни без конца проходят внутрь, через дверь, за прилавок, и выносят чашку за чашкой, по мере приготовления.

— Знаешь, — говорит Сергей, — у меня не получится **точно**, попробуй ты.

Я подхожу, ныряю в окошко, прошу, кричу — ноль внимания. Буфетчица переговаривается с парнями, двое выходят, выносят целый поднос, трое входят за следующим, остальные шумят за столиками. Сколькими различными интонациями можно сказать: «Пожалуйста, будьте добры»? Здесь Армения, здесь говорят по-армянски, а по-русски — это говорят в России, и там же понимают этот язык, а здесь — Армения, только армянский... И тогда я замолкаю, ловлю паузу и произношу так отчетливо, как только могу:

— Послушайте, не позорьтесь, ребята, где же ваше знаменитое гостеприимство, что я о вас расскажу в Москве?

Я не ожидал такого эффекта. Все их налаженное движение вдруг останавливается, как выключенное. Все стоят, смотрят на меня, и парни и женщина, мне улыбаются, передо мной извиняются, мне приносят — сколько вам? две? четыре чашки! — и денег не надо, но я, конечно, плачу и с торжеством возвращаюсь к Сергею.

Он смеется:

— Ну я же сказал! Я их знаю, гадов, только престижем и можно их взять.

Что ж, говорю я, это прекрасно. Прекрасно, что можно их взять престижем. Значит, не такие уж они нахалы, если так мгновенно срабатывает в них это чувство, обрывая инерцию ближайшей потребности. Что мне нравится в Армении: здесь еще осталось место для неожиданности. А кто у нас, добывая себе кусок, повернет на сто восемьдесят по каким-то идеальным мотивам? Наша шапка-оземь — легенда, поэтический троп, вся былая бесшабашность оправлена в раму страха, пользы и опыта.

— Не идеализируй, — вздыхает Сергей. — Здесь тоже осталась одна внешность. Все мы под одним начальством ходим, и разница несущественна...

Но Сергея может не быть дома, и тогда я куплю бутылку вина в магазине самообслуживания — у двух симпатичных девушек, они посоветуют, какое взять, и пойду к Володе и Ане, в подвал, где мне рады всегда и только тем недовольны, что редко бываю. Там мы поукинаем, я поиграю с девочкой, почитаю ей книжку, а потом Аня ее станет укладывать, и мы выйдем с Володей погулять, пока она не уснет. Мы пройдем по шикарной соседней улице Барекамутян — улице Друж-

бы, где стоят роскошные особняки ахпаров, разочарованно умотавших обратно на Запад, дворцы, занятые советскими учреждениями и различными общественными организациями; посидим все в том же кафе, где сидели бы с Сергеем; вернемся, стукнем в окошко у самого тротуара, и Аня махнет нам рукой: давайте, давайте. А там народу уже прибавится, забегут на огонек соседские девушки, и сотрудник Володи, и родственница Ани, и все мы будем еще что-то пить и вполголоса в полутьме веселиться, поглядывая на завешенную покрывалом кровать. Но девочка не проснется, она привыкла, такое ведь каждый вечер. А завтра им вставать в половине седьмого, девочку в ясли далеко везти и самим на работу. Но раньше полночи все равно уходить нельзя, большая будет обида.

3.

В воскресенье мы трое, Сергей, Олег и я, встречаемся в центре и едем в Гегард. Наконец-то!

Народ в автобусе самый разный, главным образом молодежь, едет развлекаться, проводить воскресенье. Автобус идет только до Гарни, а там до Гегарда еще километров десять, это уже как хочешь. Дорога прекрасная, погода отменная, горы справа и горы слева, в основном округлые, серые, голые, совершенно голые, я бы сказал, откровенно голые, с редким гнездышком курчавости где-то в паху. Но любое пологое место, ну хотя бы градусов сорок, уже хорошо — обязательно вспахано и аккуратно засеяно. Ближе к Гарни зелени больше, встречаются мягкие вершины и склоны, сплошь покрытые лесом, и это безумно красиво, потому что лес разноцветный: красный, оранжевый, желтый и все оттенки зеленого.

Те, кому нужно выходить в Гарни, — те и выходят, а кто хочет дальше, тот едет дальше. Кто-то что-то сказал шоферу и за лишний рубль он везет нас до места.

И здесь, сойдя с автобуса, мы проходим прямую арку и сдерживая шаг, по крупной брусчатке — входим в Армению. Вот уж Армения, сомнений нет, Древний монастырь и Великий Храм здесь не выставлены на обозрение в виду снисходительных современных зданий, а спокойно царствуют сами по себе, среди тех же скалистых громадин, под тем же небом, что и в родном тринадцатом веке. И скорее экспонаты — это несколько разноцветных застывших машин на обочине, на краю обрыва.

Сергей ведет нас не просто, не прямо, а по собственному хитроумному сценарию. Сначала внешняя церковь, стройная, удивительно высокая изнутри — снаружи казалась намного компактней. Затем — огромный прекрасный зал, ничем не облицованный и не украшенный, остались одни только голые стены и четыре колонны, но все — абсолютной формы, и глубокий рельефный орнамент по куполу, непрерывный, переползающий через швы между плитами серого камня. А потом — другой такой же зал, кажется, что просто точная копия; да, говорим мы, совершенство, ничего не скажешь, но думаем: напрасно все-таки два одинаковых, что снижает пафос, исключительность утрачена, если два, то может, и десять... Ну-ну, улыбается Сергей, смотрите, смотрите. И вдруг я начинаю чувствовать, что что-то не так. Чего-то здесь не хватает. Та же форма, те же колонны, тот же орнамент и так же переползает... Стоп! Ни через что не переползает орнамент, а ползет непрерывно, сам по себе, потому что и материал его — непрерывен. Все — так же, как в первом зале, только тот сложен из многих камней, а этот вырублен из одного. И как ни ждал я его увидеть, как ни тверд я был в убеждении, что любое реальное чудо бледнеет перед талантливым своим описанием, а такое описание существовало, — все-таки был поражен, как ребенок...

А потом мы долго бродили внутри, в крохотной закопченной часовенке поставили по свечке за своих близких, в чистое озерцо родника под самой стеной бросили по монетке, а там уже было много, и детишки лет по пять — по шесть, полоскали руки и затаенно хихикали. Родители их звали, но они не шли. Было их человек восемь, и у многих — головки каштановые, не черные. «Светлеют ар-

мянские дети, — сказал Сергей, — возвращается чистота предков. Будем надеяться, что это хороший знак».

Я не удерживаюсь от подначки:

— А быть может, это не предки, а даже совсем современники?..

Сергей усмехается.

— Не думаю. Нет. Вряд ли. А впрочем... Ну тебя, знаешь.

На улице, в ярком солнечном свете, молодой красивый священник с молитвенником в руках бормочет над барашком, которого двое мужчин с трудом приволокли за два закрученных рога. А на заднем дворе льется кровь по каменным плитам, дюжий старик в фартуке смывает ее шлангом, и она, разбавленная, с мутью и пеной, стекает в канаву. На столе разделявают тушу барана, видимо, тоже вот так освященного, но существующего уже в будущем времени по отношению к другому. Женщина моет руки под краном, а на лбу у нее — крест из крови, две линии, небрежно проведенные пальцем. А внизу, в овраге у речки — еще более будущее время барана: там шум, песни, пляски и выкрики, играет аккордеон и какая-то дудка, и пахучий дым поднимается от мангала.

— Вот видишь, — говорит Сергей, — действительно, прав был Грант, все как в библейские времена.

Я опять позволяю себе усомниться:

— Библейские? Быть может, скорее языческие?

— А это, знаешь, одно и то же. Языческое жертвоприношение — но невидимому и единому Богу, вот тебе и весь древнееврейский пафос. «И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем: не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его...» Молодая религия отделялась овечками, это потом уже цена поднялась до великих страданий.

— Ты хочешь сказать, что армяне...

— Армяне тоже прошли все стадии, испытали всю гамму, и с лихвой, но видишь, сохранили ритуал юности. Быть может, в этом если и не залог, то хотя бы намек на грядущее возрождение...

Мы спускаемся в неглубокое ущелье, переходим по камешкам реку и взбираемся на заросший кустарником холм. Олег-Длинные-ноги карабкается впереди. Мы взбираемся на вершину холма, там площадка, полянка и дерево, и оглядываемся, отдышавшись. Красота фантастическая.

Мы находимся в центре, а вернее, в одном из фокусов почти правильной эллиптической котловины. Огромные скалистые вершины окружают нас с трех сторон. Внизу под нами — монастырь и Храм, сросшиеся со скалами, выросшие из них. И все это вместе — как скульптура природы, где человек только чуточку, в одной только точке пространства, подправил действие естественных сил, чтобы обозначить место своей встречи с Богом. Но на эту поправку положил он целую жизнь — тоже, впрочем, всего лишь точку во Времени... Откуда-то позади нас, из невидимой трещины между скалами вытекает речушка и бежит вниз, к выходу из котловины. Вдоль реки — многочисленные дымы костров и мангалов, от ближайших слышна громкая музыка, но не магнитофоны и не приемники, а живая человеческая музыка: гармошки, дудки и кажется даже скрипка.

— Видишь, — говорит Сергей, — такая традиция. Среди них, быть может, нет ни одного верующего, но приехали они провести выходной с семьей и компанией не в ЦПКиО, не в ресторан и даже не просто в горы — а именно к Храму. Здесь опять, не скажу залог, но быть может, намек, надежда...

Мы возвращаемся, разглядев сверху тропинку, но уж лучше бы мы о ней и не знали. Олег, по-прежнему, идущий впереди, плюется и матерится и то и дело предупреждает нас об опасностях отнюдь не романтического свойства, в изобилии встречающихся по сторонам, а то и на самой тропинке.

— Гады, — ворчит он, — такую красоту испоганили. Вот тебе и намек, и залог!..

Мы еще заходим разок в церковь, у старого старика с седой бородой покупаем цветные открытки с видом на Храм, с портретом католика и с фотографией замечательного хачкара, который проглядели в Эчмиадзине. Выходим, послед-

ний раз оглядываемся -- и уходим вниз по дороге, текущей из-под прямоугольной арки.

До Гарни нам топтать часа два, и нельзя сказать, чтобы мы не устали, а тем более не хотели есть. Старенький автобус, такой же, в каком нас возили по городу в поисках места жительства, догоняет нас, и мы машем руками. Автобус набит почти до отказа и, конечно, не остановится. Он останавливается. Пассажиры все по виду крестьяне, какой-нибудь праздничный колхозный выезд, перевыполнение, поощрение... Встречают радушно, даже порываются уступить место, ну хоть взять на колени единственную нашу ничего не весящую сумку. И когда мы выходим, шофер, широкий парень в белой рубашке с мощной коричневой шеей, отводит в сторону руку Олега с рублем, но охотно берет другой такой же из рук Сергея. «У гостя нельзя, — объясняет Сергей. — Я свой, у меня можно». И мне приятно думать, что у меня бы он тоже взял, если бы, конечно, я дал ему молча...

В Гарни, после замечательного обеда в простой столовой — с вином, кебабами, виноградом и сыром — мы продолжаем обязательную программу, идем осматривать языческий храм. Но смотрим в основном не его, а удивительной красоты ущелье, падающее вниз до немыслимой глубины, и там вдали, на самом дне, возвышается плоское плато, отсюда на вид совершенно ровное и как бы обрубленное со всех сторон, поросшее кустарником и травой. Там сказочная, изолированная от мира страна, там живут такие маленькие человечки, мы их отсюда не различаем, и в этом залог их покоя и счастья... А храм, что же, ничего себе храмчик, аккуратненький, как из папье-маше. И как-то в землю не вросший, отдельный, как будто изготовили, привезли и поставили, как газетный киоск, — сверху, подъемным краном.

4.

А еще мы ездили с Олегом в Дилижан, а ехать туда надо мимо Севана, и Севан, конечно, удивительное озеро, но в данном случае, признаюсь, получилось так, что литературный его портрет для меня оказался ярче оригинала. Я, правда, испытал некое тайное побуждение, но и оно восходило к литературным данным. Я знал, что Севан непрерывно убывает, и мне захотелось немедленно что-то сделать, где-то в стороне зачерпнуть воды и добавить сюда хотя бы пригоршню, а главное — хоть немного смочить перешеек, чтобы полуостров Севан опять превратился в остров, как это было во времена Мандельштама и Кузина...

Потом мы приехали в Дилижан, прекрасный уютный маленький город, весь в горах, лесах и водах, и калымщик, возивший нас по окрестностям, утверждал, что это лучшее место в Армении. Но он вообще так много и громко разговаривал, то и дело отворачиваясь от баранки и тыча рукой то в меня, то в Олега, что стал главной и наиболее ощутимой подробностью этой поездки. И когда я теперь говорю себе «Дилижан», то все, что я вижу при этом: россыпь друг над другом стоящих дозиков, выглядывающих то частью стены, то коньком крыши из густой гучерявой зелени; извилистые лесные дороги, над ручьями, под кронами, сквозь густую чащу; суровый монастырь на узкой террасе, далеко окруженный лесами, но не справа и слева, как могло быть в России, а сверху и снизу; и затерянное в совершенной глуши озерцо, как прозрачная капля в чаше цветка, — все это я вижу как бы на заднем плане, сквозь круглую самодовольную ряху и уверенный голос этого парня.

Двадцать пять рублей за такую экскурсию — это не деньги, он берет тридцать и сорок, просто мы ему сразу понравились. Видит — хорошие люди. В Москве он не был, но был в Вологодской области, служил в армии шофером на грузовике, там и накопил на этот «москвич». Давали, сколько скажешь, куда им деться, на всю округу ни одной машины. Пять рублей капитану, пять — себе, двадцать капитану, двадцать себе, всегда честно, хотя кто его мог проверить? Но вот он такой человек. Хороший человек, прямой и честный. Но и с ним надо тоже прямо и честно, потому что его не проведешь. Правда, недавно случилась неприятность с братом. Брат тут был ни при чем, он только разнимал, но все разбежались, а он остался, и у него на рубашке кровь. Степан Варданян дал триста следователю, а им теперь надо дать пятьсот, и пятьсот прокурору и пятьсот судье.

Здесь, в Дилижане, да и во всей Армении, если денег нет, виноват-не виноват, садись в кутузку. Поэтому без денег здесь нельзя. У нас в Москве еще как-то можно, там, в Вологодской, такие бедные, ну совсем нищие — ничего, живут...

Вот все мои сведения о Дилижане.

И здесь, в Дилижане, в этом крохотном городке, в шумной забегаловке у базара, мы впервые увидели пьяных в дребодан мужиков, в полном ничтожестве, в слюнях, соплях и кровоподтеках, все как положено. Мы случайно, не глядя, подсадились за этот стол, тут же вылетели по касательной и с ужасом услышали, как они нас окликнули, не очень внятно, но на чистом русском, если что-нибудь чистое могло от них исходить. Да, это были наши родные, целых трое, шапли друг друга, будто вместе вот так и прилетели из московской подворотни, только что там сойдясь и скинувшись, будто магическая сила какого-нибудь Воланда вырвала их оттуда и забросила сюда. И мы уже были у них на крючке, на неотвратимом бухом прицеле, и один из них полз, плыл, стелился к нам, перебирая руками, и вот уже тыкался в плечо Олега бесчувственными костяными пальцами, и дышал мерзостью ему в лицо, и что-то лепетал, угрожающе-приветливое... Бедный Олег заторопился на улицу, на ходу доглатывая свой кебаб, и потом мы долго сидели молча на автобусной остановке, грызли груши, купленные на базаре, и сосредоточенно рассматривали каждую, прежде чем укусить...

5.

Я понял про себя: я плохой экскурсант. Какой бы ни представили мне экспонат, пусть обладающий бесспорной ценностью, я чувствую недостаточность своей реакции, отсутствие в душе должного отклика, и досадуя на себя, бросаюсь в другую крайность, и уже, бывает, пытаюсь выдать больше того, что имею. Вокруг знаменитых культурных ценностей, специально выставленных для обозрения, я никак не могу построить цельного образа, он всегда разрывается какой-то деталью, какой-нибудь неуместной подробностью, иногда — вызывающе неуместной.

Вот, казалось бы, наиболее чистый случай: **Матенадаран**. К этому зданию я давно приглядывался, и оно мне нравится. Общий стиль — ясный и не навязчивый, и даже скульптуры не раздражают. А уж сама идея, что говорить, прекрасна: Институт рукописей и Музей рукописей, Главный музей книжного народа. Говорят, что скульптура «Мать-Армения», возвышающаяся надо всем городом, согласно первоначальному замыслу, должна была вместо меча нести в руках огромную книгу. Но будто бы высшее начальство наотрез запретило такую вольность. Пусть мол армяне не будут умнее других, у всех меч, так пусть и у них — меч... Но зато уж в Матенадаране — никакого оружия, а только книги и книги. И сперва мне действительно очень понравилось, такая древность — и такое разнообразие, такая полнота отражения всех сторон существования и всех форм мышления. И миниатюры — просто редкостные таланты! Тут бы мне и уйти, с этим впечатлением, так нет, я еще не все осмотрел. Походил еще, покружил, постоял — и сам не заметил, как заскучал, стал терять внимание, думать о всякой всячине, менее важной и не столь торжественной. Например: через несколько дней улетать, как там с билетами. Или того хуже: какие купить помидоры, куда положить, чтоб не смять и чтоб ничего не испачкали... Что написано в книгах, я все равно прочесть не могу, и только перебегаю глазами с одной на другую. Разве можно так смотреть книги? Вот взгляд куда-то уткнулся, задержался. Опомнившись, я фокусирую зрение и неожиданно вижу еврейские буквы. Ну и что мне от этого? Я и их прочесть не могу. Зато я легко могу прочесть на стене в красивой рамке стихи по-русски, как объявлено, — Саят-Нова. Нет, настоящего Саят-Нова я, конечно, не прочту, и это плохо. Но то, что Саят-Нова не прочтет Валерия Брюсова, это, я считаю, большая его удача... Так, с сухими скорлупками брюсовских рифм на зубах и со скукой в душе, я и собираюсь покинуть этот уникальный музей. И только совершенно новая подробность примиряет меня с жизнью, хотя и уведит несколько в сторону. Замечательно красивая девушка, стройная худенькая отличница, возникает передо мной с указкой. «Пожалуйста, экскурсия на русском языке. Кто хочет, может послушать». Как говорит! Вся — улыбка и вся — обаяние. И я прохожу все круги сначала и у каждого степида, расталкивая соседей, встаю

прямо напротив нее. Нет, я ничего не желаю для себя персонально, мне хватает такого внимания: никому и всем... И запомнив едва лишь несколько слов, тем не менее, я выхожу на улицу в мечтательном стариковском умиротворении. **Платон, Филон, Торос, Хоренаци...** Подумать, такая умница!

Но зато уж повседневный армянский быт, не выставленный для специально-го обозрения, то и дело одаривает меня сверх меры. И даже традиционная армянская книжность, это кровное пристрастие к письменному слову, и тут находит свое выражение, и в самой необычной и трогательной форме.

— Асоян? Сергей? — переспрашивает Цогик Хореновна. — Не слышала. И что, настоящий писатель? Почему же он к вам никогда не заходит? Вы бы его пригласили поужинать, чаю попить. — Что-то промелькивает у нее в глазах, какое-то более резкое чувство, чем все те, что, казалось бы, свойственные этой женщине. Понятно, говорю я себе, она простой человек, а тут — писатель, любопытно, ясное дело. Нет, говорю я себе, ну глупость, ну не может же быть. Простое человеческое любопытство, да плюс естественное радушие...

И вот мы сидим за столом все четвером; Олег, я, Сергей и она, понемногу пьем чай с вареньем, отчасти смотрим телевизор, слегка разговариваем. В углу комнаты, на таком же большом столе, по всей поверхности, разложена травка рехан, сушится на зиму, пахнет приятно. Печенье, купленное мною три дня назад, уже тогда было жестким, как камень, а теперь достигло железной твердости. Лязгнув о него зубами, я кладу его в блюдце. Олег ухитряется как-то разгрызть — здоровый мужик, а Сергей придумал макать в чай — хитрый армянин, как сам он себя называет.

— А по-армянски вы понимаете? — спрашивает Сергея Цогик Хореновна. Сергей отвечает ей по-армянски.

— А читать-писать тоже умеете?

Он, видимо, отвечает, что да, умеет.

И тогда она вдруг встает и идет к тумбочке, возвращается, отодвигает в сторону чашку — и толстенную клеенчатую тетрадь кладет перед собой на стол и поглаживает руками. Я смотрю на Сергея, и все его чувства мне понятны так, как если бы он был я. Значит все-таки именно так, именно **это**. Ну кто бы придумал такой анекдот? Впервые за три недели я не жалею, что не знаю армянского. Олег улыбается, он тоже понял, что воспоследует...

Но уж слишком много мы знаем о жизни, слишком умеем ее предугадывать; а она нет-нет, да возьмет и повернет в неожиданном направлении.

— **Я собираю пословицы.** — произносит Цогик Хореновна, и невидимый слой окружающей нас реальности, плотный куб, заключенный в стенах этой комнаты, резко меняет состав и окраску. — Я много лет собираю пословицы и поговорки, и собрала уже тысячу двести штук.

В наших возгласах столько же облегчения, сколько удивления и восхищения.

— Мы с братом, — продолжает она. — Он тоже собирает, и мы обмениваемся, но я собрала гораздо больше.

— Где же вы их находите? — спрашивает Сергей.

— Везде. В деревне, когда бываю у родственников, в очереди, в трамвае. Еду и слушаю. Запоминаю, потом прихожу и записываю. И вот я думаю, как вы считаете, может, это кому-нибудь пригодится?

— Конечно, конечно, — радуется Сергей. — Это же какая огромная работа! Если из этих тысячи двухсот хотя бы сотня окажется неопубликованных — любой фольклорист за голову схватится.

— Ну, почитайте немного, почитайте. — Она пододвигает к нему тетрадь. Там под номерами выписаны аккуратные строчки, одна-две под каждым номером. Буковки с четким наклоном, отдельные, как в той, **хорошей** рукописи у Гранта. Сергей читает, кивает, гмыкает.

— Вы знаете, просто очень интересно. Ну, я конечно, не специалист. Тут пока, в основном, довольно известные (это он мне), но кажется, есть и оригинальные. Во всяком случае, раз их так много, то и надо читать все подряд, но это я вам пришлю специалиста.

Цогик Хореновна сдержанно улыбается, ее природный такт не позволяет ей радоваться слишком громко, а тем более какое-то выражать самодовольство.

— Хорошо, — говорит она, — пришлите, пожалуйста, жалко, чтобы все пропало. Народная мудрость, надо хранить...

— Ну как тебе? — спрашивает Сергей, когда мы выходим на улицу. — Часто такое встретишь в России? И главное, брат ее — тоже, и они соревнуются — такая деталь!

6.

Мы богаты с Олегом, мы сказочно богаты! Из позорной бедности, из подлого нищенства мы чудом, как и полагается на Востоке, переходим в разряд благородных негоциантов. Мы сдаем прибор в химикоинженерском, мы показываем Кам сарычу и Апоцу последние контрольные графики, аккуратные, с запасом уложенные в допуски — и нам крепко жмут руки и благодарят от души, и вручают не какие-то бумажки с печатями, а настоящие, живые, хрустящие, по двести пятьдесят на брата. Это значит, что несколько оставшихся дней мы можем не думать о каждой копейке, не мучиться, просить-не просить у наших домашних, приводить ли в движение их самоотверженность в этом сомнительном направлении или дать ей выразиться как-то иначе. Это значит, что сами мы получаем возможность **одаривать** — счастливейшую, лучшую из возможностей. Мы пройдем по улицам, не минуя ни одного магазина, мы накупим подарков детям, женам и матерям, мы зайдем к Норикку в био-гео и скажем: «Ладно, ничего, не огорчайся, Норик, это даже к лучшему. Утрясешь свои дела, найдешь место прибору, вызовешь нас, мы приедем еще с большим удовольствием. А пока, Норик, не обижай, возьми деньги для твоей мамы, она сама ни за что не возьмет, а ведь ей необходимо, а нам платят, нам очень много платят специально за жилье, так что же мы эти деньги будем присваивать, обманывая родной завод!» И Норик покраснеет и скажет: «Спасибо, ребята. Ни за что бы не взял, это очень стыдно, но нет у меня никаких побочных доходов, а маме нужно делать ремонт, я еще немного добавлю, как раз и хватит...» А потом мы пойдем на базар, накупим вина, овощей и мяса, позвоним на работу Володе и домой Сергею и устроим маленький пир на маленький мир. Мы будем пить прекрасное дешевое вино, по очереди за здоровье всех присутствующих и есть **хоровац** — армянский шашлык, в котором главное не мясо, а смесь овощей, обожженных, пахнущих дымом и маслом. Московские гости дали ужин в честь своих армянских друзей. Красиво. И от чего порой зависит гармония — от наличия жалкой тридцатки!

И вот наступает самый последний вечер. Уложены вещи, закрыты чемоданы. Бачок все в той же холщовой сумке по горло залит вином, которое Володе устроил по благу большой друг его начальника. (В Москве вино придется вылить — скисшее, совершенно никуда не годное, но пока еще до этого далеко.) Олега специальный ящик впритирку набит гранатами. (В Москве его чуть не выгонят из дому, в семье никто не любит гранатов, а два таких же примерно ящика он уже посылал по почте.) Все готово к отъезду, и самый последний вечер я провожу в узком семейном кругу. Семейный круг сегодня опять, как и в первый раз, перенесен в квартиру родителей Ани, но сами они уехали в Кировоград, и мы как у себя дома. Девочка спит в соседней отдельной комнате. Мельтешит телевизор. Сидя рядом с ним, почти вплотную к экрану, чтоб не мешали, смотрит футбол железный Мартик, жених Аниной сестры Веры. Он чемпион страны по прыжкам в воду, юный обладатель трехкомнатной квартиры и двухсот восьмидесяти рублей стипендии и в свои неполные девятнадцать лет — человек твердых жизненных принципов и ясных целей. Сама Вера, тонкая, гибкая, томная, сидит у его ног на низеньком пуфике, длинными руками обнимает его руку, гладит его ладонь прозрачными пальцами с двуцветным красно-зеленым маникюром, нежной щекой с упавшей прядкой прижимается к массивному его плечу. Железный Мартик — так его называет Володя — более спокойно и уравновешенно, в промежутках между острыми моментами игры рассказывает нам, как футболисты «Арарата» спекулируют машинами и заграничными шмотками, кто из ЦК кому из них покровительствует и как они выкручиваются, когда попадают. Володя что-

то фыркает в его сторону, Аня посмивается добродушно. Свадьба давно уже решена и отложена лишь по каким-то внешним причинам, чуть ли не из-за модных колец. Я то сажусь на диван, то встаю и хожу по комнате, и все кошусь на красный телефонный аппарат и иногда, не удержавшись, обвожу его рукой по контуру и поглаживаю в томлении, как Вера Мартика.

Мне хочется позвонить Гранту.

Мне смертельно хочется ему позвонить, потому что без этого последнего звонка здешняя моя жизнь лишена композиции, главной завершающей точки, на которой строится вся гармония этой поездки. Мне хочется ему позвонить, потому что Армения для меня — это, в первую очередь, он, Грант, и с кем же еще мне прощаться, прощаясь с Арменией? И еще потому что нипочему, по причине любви, родства и душевной тяги. И вот я снимаю трубку, набираю номер, и мне отвечает женский голос, оторопевший и скованный от неожиданности, от неподготовленности к иноязычной речи, его сменяет другой голос, тоже женский, тоже немеющий, затем, после долгих неловких объяснений, когда я говорю по-русски едва ли правильней, чем они, я слышу голос Гранта: «Да, Алло», — и не чувствую уже никакого настроения и жиденьким неубедительным голосом говорю только: «Здравствуй. Вот, уезжаю. До свиданья». — «До свиданья, — говорит он. — Хорошо. Передай привет». — «До свиданья, — говорю я, — всего тебе доброго». — «Всего доброго, — говорит он. — Хорошо. До свиданья». И вежливо не кладет трубку, и я понимаю и кладу первый.

Все это я проигрываю в своем воображении с отчетливостью безусловного действия, с полной уверенностью, что будет именно так, и даже в мельчайших деталях. И поэтому мне вовсе не надо звонить, да просто ни в коем случае. Я и не буду. Но желание разговора, родства, понимания, но томление мое остается. Так хотелось бы мне наполнить смыслом и чувством этот последний вечер.

Вера и Мартик тихо воркуют, и хорошо, что не надо прислушиваться, делая вид, что не слышишь, и не надо мучительно достраивать фразу по двум разобренным словам, а можно просто смотреть, умиляться, завидовать... (Я узнаю потом, через год, что свадьба расстроилась, что про Мартика ничего не известно, а у Веры другой жених, русский парень из Минска.)

— Ну-ка вставай, — говорит Володя, внимательно так на меня посмотрев, — давай мы с тобой слегка проедемся, я тебе кое-что покажу.

7.

Мы выходим из троллейбуса на **Киевян** — Киевской улице. Мы проходим по мосту через Раздан — глубокое сужающееся ущелье и быстрая река далеко внизу, и крохотная моторка мотается на приколе — и начинаем подъем в гору по пологой тропинке. Вокруг лес, или, может быть, роща и глухая тревожная темнота. Куда это мы, Сусанин? — Увидишь. Подъем кончается, и кончается лес, большое плато, но по краю — опять кусты и деревья, никаких строений и никакого света, кроме звезд, луны и невидимого города за горизонтом. Тропинка то ли есть, то ли нет ее, перекосы, рытвины. Володя поддерживает меня под руку, но вдруг отпускает, и я чувствую под ногами ровную дорогу, то ли асфальт, то ли бетон. Я все еще по инерции смотрю себе под ноги, так мы проходим с десяток метров, и вдруг Володя говорит: «Оглянись». Я оглядываюсь и цепенею. Два ряда тусклых огней, целое погребальное шествие сопровождает нас на нашем пути. Фонари неподвижны, согнуты в низком поклоне намного ниже человеческого роста, и обращены не к дороге, а прочь от нее, ничего, по сути, не освещая, но образуя контур пути, скорбный его пунктир.

— Это путь к памятнику жертвам резни, — тихо говорит Володя. — Сейчас мы к нему придем.

Так мы идем еще какое-то время, и печальное шествие позади и впереди сопровождает нас и выводит к каменной площади, на которой взлетают в небо два каменных острия, а вернее одно, расслоенное тонкой узкой полоской света на две неравные части. Одна из них выше, другая ниже. А дальше двенадцать каменных глыб под таким углом, что едва не падают, нависают по кругу над вечным огнем. Самого огня не видно, он в центре, внутри под этими глыбами, едва

не задавлен их страшной тяжестью, но багровые отсветы пламени живут на ребрах и гранях, и от этого весь хоровод огромных камней выглядит тоже — злоеще-живым и тяжело-подвижным...

Я должен признаться: не люблю памятников. Ни памятников событиям, ни памятников людям. Я уже не говорю о памятниках вождям, но даже, скажем, писателям и даже хорошим. Тут отчасти срабатывает логика дня, общий принцип нашего быта, где достойный, как правило, не отмечен, а отмеченный, как правило, не достоин. Если среди множества писательских памятников нет памятника Булгакову, Зощенко, Набокову, Ахматовой, Мандельштаму, Бабелю — то что хорошего вообще мы можем сказать о памятниках? Только пожелать, чтоб и впредь их не ставили порядочным людям. Но дело не только в этом. Сам принцип ставить на площади каменную копию определенного человека есть, по-моему, грубое вмешательство в функцию памяти и свойства времени, и библейский закон не творить кумира кажется мне здесь совершенно уместным. Сам по себе выбор имени: кому ставить, кому не ставить — даже в случае предельного единомыслия будет все же принуждением и навязыванием, насилием над свободой оценок и мнений. Памятнику ведь нельзя возразить, он бесспорен и потому — безнравственен. Всякий памятник унижает мое достоинство как рядового человека и гражданина, и любой, даже самый безобидный, смешно сказать, страшен мне, как Евгению Медный всадник. Любой, даже памятник самому Пушкину. Скульптурный портрет вообще не имеет большой образной емкости, но скульптура на площади — это антиобраз, она давит чувство и воображение своей безоговорочной определенностью, тяжелой конкретностью, однозначным наличием.

И с той поры, когда случалось
Идти той площадью ему,
В его лице изображалось
Смятенье. К сердцу своему
Он прижимал поспешно руку,
Как бы его смиряя муку,
Картуз изношенный сымал,
Смущенных глаз не подымал
И шел сторонкой...

Не люблю и боюсь.

Из всех памятников Еревана мне, пожалуй, показался забавным один — архитектору Таманяну. В скверике перед бассейном с фонтанами помещен огромный стол из серого камня, и на него широко расставленными руками опирается такой же серый старик. Согнулся над столом, наклонил голову, глядит вопросительно и хитро. «А, этот! — сказал Володя. — Да, хороший. Это памятник Рафику». — «Что, Таманяна звали Рафик?» — «Нет, Таманяна звали иначе. Рафик — это был буфетчик на вокзале, известный богач. Рассказывают, что после его смерти безутешные родственники узнали о готовящемся памятнике Таманяну, заплатили скульптору сколько-то там десятков или сотен тысяч, и он сделал Таманяна с лицом Рафика и поставил на площади этот общий памятник!»

Я просто в восторг пришел от этой легенды, она была не слабее самой скульптуры, она была многозначна, как притча, в ней просматривался глубочайший смысл. Именно так: прославляемый архитектор, автор Дома Правительства на площади Ленина — и делега буфетчик с вокзальной площади. Пускай им общим памятником будет... Все правильно. Хитрая рожа буфетчика Рафика — вот подлинное лицо рукотворного бессмертия!

Но и памятники событиям, мемориалы, тоже не вызывают у меня симпатии. Тут я, может быть, не против принципа, но опять же, как быть с выбором? Мало, что история так перевернута, что просто непонятно, что было, чего не было, но ведь и то, о чем точно известно: было — не всегда знаешь, как оценить. И остаются только явные трагедии, но и тут я не помню достойных и честных примеров, когда бы в памятнике содержалась хоть доля чувства, которое вызывает са-

ма трагедия. А тогда — на черта он нужен? Бессмысленная куча-мала с циничной надписью в Бабьем Яру? Или все эти могилы неизвестных солдат, вызывающие, вместо сочувствия людским страданиям, только привычный страх перед чужими, да шальную мысль о вечном огне: а что если выключат газ?..

И вот, я впервые вижу памятник, который меня потрясает.

В нем нет попытки изобразить **события**, потому что не было никаких событий, потому что не таким человеческим словом называется то, что стряслось с армянами. В нем нет рассказа, потому что он невозможен, потому что никакая система из металла и камня, ограниченная в материале, времени и пространстве, не в силах рассказать о двух миллионах изуверенных и замученных насмерть людей.

В нем нет никакой прямой символики, ни имени скорби, ни даже попытки ее назвать — но есть **ощущение** скорби.

Никаких боящихся сморгнуть часовых, никаких ракурсов и дистанций, никакой театральности. Можно обойти вокруг, подойти вплотную, потрогать камень, спуститься вниз, в широкую щель между соседними глыбами, там для этого есть ступеньки, походить внутри, погреться у пламени, посмотреть вверх, на темное небо, ограниченное зазубренным кругом гигантских плит, тяжело нависающих под таким углом, что едва не падают, — и тут же поспешно опустить голову и вцепиться взглядом в спасительные ступеньки. Нет, это только памятник, нам сейчас ничего не грозит. Но все время, постоянно, всюду: смотришь ли издали, ходишь вокруг, стоишь ли внутри — всюду с тобой это чувство страха и скорби.

Мы выходим на край площадки, и теплое разлитое море огней обнимает нас с трех сторон. Это светится город, где живут **оставшиеся в живых**. Пусть будут спокойны и счастливы, пусть будут хоть эти!

И тут я впервые понимаю отчетливо, прямо в сердце меня укалывает эта мысль, в чем подлинная суть родства, о котором мне столько раз пытались сказать армяне и которое я сам чувствую в себе постоянно. Нет, не древние культуры, разве знатность происхождения может служить основой любви? И не национальная обособленность, откуда она у меня, никогда не бывало. Нет, главное здесь в другом: духовное родство оставшихся в живых. Естественная близость и понимание и взаимное утешение все потерявших, но оставленных Богом жить для какой-то Ему лишь ведомой цели. Это близость и родственность Иова — Иову, это притяжение сироты к сироте. Два миллиона армян и шесть миллионов евреев, разные цифры — и одна цифра: две трети населения и там и тут*. Как если убили отца и мать, и остался один на свете — такие же были бы цифры. Или если... Но это и произнести невозможно. Кровь и величайшие в мире несчастья роднят евреев с армянами, как не могут роднить никакие блага. Ах, не будем касаться, хватит и сколько можно, и опять за свое... Опять за свое, а за чье же. Все так, и тем не менее все не так, потому что это не только мое, это общее, наше с вами, всех без разбора. Отвлеченный тезис о том, что нельзя ненавидеть **нацию**, в наше время, в двух, по крайней мере, случаях показал пример злобещей материальности. Нет, не только в действиях мы несвободны, поздно рассуждать о свободе, когда начинаются действия, мы несвободны и в чувствах своих и в своих побуждениях — изначально не дано нам такой свободы. И слово — тем более слово — не должно уходить из-под зоркого ока совести. Слово свойственно овеществляться, недаром еще в древности мудрые цадики избегали предсказывать дурные события. Ибо, говорили они, само предсказание может повлечь и приблизить несчастье. И поэтому, если кто-то сказал: «Ненавижу армян» — то он не просто дурак и не просто подонок, он преступник, и кровь армянских детей на его руках. И так же — если кто-то сказал о евреях, но так же — если о русских или других. Потому что трагедия первых двух показала, что все мы, независимо от желания, можем быть отнесены к какой-то группе, все принадлежим и значит — все под угрозой.

«Господи, благослови евреев!» — опомнился перед смертью замечательный Розанов, много перед тем проклиная евреев. И мудро добавил: «Благослови и русских!»

* Я имею в виду «армянских» армян и европейских евреев.

Я стою на краю площадки, высоко над городом, и таким важным и значащим вышло само собой это место: позади меня боль и трагедия нации, впереди — ее повседневная жизнь... И кажется мне, что только теперь я всерьез почувствовал и понял Армению, которую, по сути, и не увидел. Сколько надо прожить в чужой стране, чтоб ее узнать? День, неделю, месяц, год? И года может оказаться мало, но и дня может оказаться много. Я думаю, нужно ровно столько, сколько нужно, чтоб — полюбить. Поживи я подольше, узнай побольше, быть может, неизбежные досадные мелочи заслонили бы от меня знание чувства — единственное подлинное знание...

Завтра я улечу на север, в нашу прозу с ее безобразьем, в осеннюю, уже заснеженную Москву, к своим близким и к возлюбленному своему начальству. Мы будем отчитываться с Олегом, совать бумажки, приводить доказательства, а потом начнется повседневная жизнь, и за какой-нибудь год ударной работы, неуклонно повышая, а также снижая, экономя средства и материалы и используя внутренние резервы, я выделю себе несколько подпольных месяцев, когда смогу по три-четыре часа в рабочее утро посидеть за машинкой, обдумать все, что увидел, и все, что почувствовал, и, быть может, как-то попытаться об этом сказать.

И я уже слышу готовый упрек, к счастью, не мне одному адресованный, а уже становящийся традиционным: где Армения? Нет Армении.

А ее ведь и нет, Армении, вот в чем дело. Нет Армении, как нет и России. Есть любовь к Армении и тоска по Армении, как есть любовь и тоска по России. А дома и улицы и даже леса и горы — это только ориентиры, точки привязки. Любовь к родине и тоска по родине — это и есть сама родина, не предметы, на которые направлены чувства, а сами чувства — любовь и тоска. Абсолютно прав был Грант Матевосян: и то не Армения, и это не Армения, но любовь самого Матевосяна к Армении и тоска по ней — это и есть Армения и она более реальна, чем дома и леса, потому что она неизменна и вечна.

Конечно, мое отношение иное. Нельзя любить чужую страну как свою. Но, скажу я, нельзя любить и свою как чужую. А нуждаемся мы и в той и в другой любви, и еще неизвестно, какая для нас важнее. Нации — те же живые люди. Потребность любить другой народ так же естественна в нас, как потребность любить другого человека. И так же мы здесь лишены возможности выбора, а любим — потому что любим...

Я всегда любил Армению и всегда тосковал по Армении. То была воображенная мной страна, щедрая, мужественная и счастливая, и такой она для меня и осталась, и такой будет всегда, вне зависимости от зримого соответствия. Но эта моя Армения до сих пор пустовала: только два-три имени, только три-четыре названия. Теперь я ее заселил и заполнил жизнью. Я пробыл здесь не много, не мало, но достаточно, чтоб полюбить армян — конкретных живых людей, с именами и лицами, а также многих других, которых теперь мне легко представить.

Что сказать мне о них в заключение? Разве только повторить еще раз чужую простую мудрость:

— Они не лучше и не хуже других народов, но я люблю их чуточку больше других...

М о с к в а, 1978



Ирина Семенко

Ранние редакции и варианты цикла «Армения» О. Мандельштама

Имя автора публикуемой статьи — Ирины Михайловны Семенко — знакомо тем, кто в течение лет уже двадцати с заинтересованностью следил за каждым, достаточно редким (а оттого и вдвойне драгоценным) фактом появления в свет поэзии и прозы О. Мандельштама, равно как и за освещающими его творчество исследовательскими работами, тоже отнюдь не часто находившими дорогу в печать. Вспомню, кстати, что первыми среди долгое время остававшихся редкостью публикаций «из Мандельштама» были замечательные страницы, возвращенные читателю журналом «Литературная Армения»: в номере первом за 1966 год появилось двадцать стихотворений цикла «Армения» (и вместе с ними мемуарный очерк М. Цветаевой о Мандельштаме «История одного посвящения»), в номере третьем за 1967 год — проза «Путешествие в Армению», сопровождаемая страничками воспоминаний Н. Я. Мандельштам. Годом позже в журнале «Вопросы литературы» И. М. Семенко представила материалы из записных книжек Мандельштама 1931—1932 гг., связанные с его прозой об Армении. С тех пор ею — литературоведом, обращенным к изучению страниц классической русской поэзии, тонким текстологом и комментатором — был создан ряд интересных работ, решающих текстологические проблемы творчества О. Мандельштама с одновременным проникновением через анализ текста — его вариантов, его движения, становления — в специфику образного мышления, стиля, в смысловое богатство метафор, ассоциаций, в особый строй мандельштамовского видения мира, ощущения жизни и их выражения в слове. Одна из таких работ безвременно скончавшейся И. М. Семенко напечатана уже недавно в журнале «Новый мир» (1987, № 10).

Что касается помещаемой ниже статьи, то она была прислана мне автором в конце 1984 года для ознакомления и, возможно, публикации в каком-либо из наших русских изданий. Приведу здесь письмо, которым И. М. Семенко сопроводила свою статью, — оно само хорошо скажет о личности автора, о круге ее литературоведческих интересов и трудов, о вещах, напечатанных ею, и о вещах, ожидавших «счастливого случая» напечататься.

«Посылаю Вам свою статью «Ранние редакции и варианты цикла «Армения». В статье преследуются две цели: публикация значительной части не расшифрованных и до сих пор не печатавшихся черновых текстов О. Мандельштама и, на этой основе, наблюдения над его поэтикой.

Я имела возможность, при жизни вдовы поэта, работать в его семейном архиве. В «Вопросах литературы» вышли две мои статьи о Мандельштаме: о черновых материалах к прозаической «Армении» (реконструкция, «ВЛ», 1968, № 4) и «Мандельштам — переводчик Петрарки» («ВЛ», 1970, № 10; переведена на итальянский язык в журнале *Rassegna Sovietica*», Рома, 1970, № 4). Я также являюсь членом комиссии по наследию О. Мандельштама при Союзе писателей.

У меня есть целый цикл акадологических статей о поэзии Мандельштама. Одна из них печатается в Тарту в «Блоковском сборнике». Вам посылаю статью, которая непосредственно связана с Арменией.

Независимо от дальнейшего хода дела сердечно Вас благодарю за внимание.

Сообщаю — для редакции! — что я автор двух книг («Поэты пушкинской поры», М., 1970; «Жизнь и поэзия Жуковского», М., 1975); кандидат филологических наук, доцент...» 11 ноября 1984, Москва.

Моям предложением в ответ было: включить статью в пятый сборник серии «Литературные связи», выпускаемой Ереванским госуниверситетом, с предположительным выходом сборника в 1987 году. И. М. Семенко отозвалась так: «Большое Вам спасибо за Ваше письмо. Я совершенно согласна с Вами и буду рада напечатать статью в 5-м томе «Литературных связей», То, что это падает на 1987-й год, не имеет значения! Действительно, в этом издании материал будет «на месте», а это главное» (25.XII, 84).

К сожалению, выход в свет сборника затянулся: процесс издания книг, в особенности научных, был и остается у нас затяжным процессом. Иное дело — литературная периодика: за два года она решительно и многообещающе перестроилась. Журналы, словно состязаясь один с другим, публикуют и публикуют оставшееся в тени... Что ж, состязание — благо, от него выигрывает читатель, выигрывает литература, культура, духовность. Вот почему я и подумала: пусть составленный мною сборник лишится одного из лучших своих материалов, пусть годом раньше он появится на страницах сегодняшней «Литературной Армении», здесь он теперь тоже будет «на месте», вступая в естественную связь с некогда появившимися в этом журнал, первыми в шестидесятых годах, «мандельштамовскими публикациями».

Н. А. ГОНЧАР

Говоря, что у него «нет черновиков», Мандельштам имел в виду не ход своей поэтической работы, а чуждое ему собиранье архива для «потомства». «Черновики никогда не уничтожаются» — это относится также не к сохранности рукописей, а к сохранности черновика в образной системе окончательного текста. В завершенной системе сохраняется «энергетика» созидания, и потому окончательный текст — не застывший, а динамический: варианты, даже отброшенные, в нем интегрированы. Это относится, в сущности, к черновой работе всякого писателя. К Мандельштаму — в особенности. У зрелого Мандельштама первоначальные стадии работы меньше всего связаны со стилистической правкой, шлифовкой; он устремлен непосредственно к смыслу (Мандельштам — по собственному заявлению — «смысловик»). Вместо стилистической шлифовки он занят безудержным варьированием образов (метафор). Его первоначальные варианты часто не менее совершенны, чем окончательные, и это само по себе обязывает к более широкой их публикации.

В окончательном виде стихотворная «Армения» напечатана при жизни автора так, как он этого хотел. В семейном архиве есть разные редакции и некоторые черновики¹.

Концепция страны по существу у Ман-

дельштама не менялась от более ранних к более поздним текстам. Образ Армении воссоздается сочетанием черт благородной древности, патриархального мирного быта и труда, исторических испытаний, специфического пейзажа и природных условий, а также характерного для страны человеческого типа, фонетических и графических особенностей устной и письменной речи.

Все это не является отличием ранних редакций от поздних, но в ранних поэт разрешает себе больше любимой им игры значениями и реалиями.

Главные темы цикла уже содержатся в перестроенном затем стихотворении, предшествовавшем его созданию и ставшем для него основой («Ломается мел и крошится...»). Из его вариантов автор сделал позднее два разных стихотворения — «Ты красок себе пожелаала...» и «Как люб мне натугой живущий...»² (последнее не вошло в цикл). К тому же источнику восходит и «Ты розу Гафиза колыхнешь...».

Наиболее ранняя редакция стихотворения «Ломается мел и крошится...» дошла в своем готовом, окончательном виде, без предшествовавших черновых набросков³. Приведем ее для цельности кар-

² Комментарий Н. И. Харджиева к «Стихотворениям» О. Мандельштама («Советский писатель», 1973), с. 287.

³ Запись рукой Н. Я. Мандельштам, с авторской датой «16 окт. 1930» и последующей правкой, превратившей рукопись в черновик последующих редакций.

¹ Это частью автографы, частью записи под диктовку автора, рукой Н. Я. Мандельштам, а также прижизненная машинопись. Опубликовано очень немногое.

тины полностью. Две заключительные строфы до сих пор не публиковались⁴:

Ломается мел и крошится
Ребенка цветной карандаш...
Мне утро армянское снится,
Когда выпекают лаваш.

И с хлебом играющий в жмурки
Их вешает булочник в ряд,
Чтоб высохли барсовы шкурки
До солнца убитых зверят.

Страна москательных пожаров
И мертвых гончарных равнин,
Ты рыжебородых сардаров
Терпела средь камней и глин.

Вдали якорей и трезубцев,
Где жухлый почил материк,
Ты видела всех жизнелюбцев,
Всех казnelюбивых владык.

И крови моей не волнуя,
Как детский рисунок просты,
Здесь жены проходят, даруя
От львиной своей красоты.

Как люб мне язык твой зловещий,
Твои молодые гроба,
Где буквы — кузнечные клещи
И каждое слово — скоба.

Раздвинь осьмигранные плечи
Мужицких бычачьих церквей,
В очаг потухающей речи
Открой мне дорогу скорей.

Багряные «уни» и «ани»⁵ —
Натуга великих родов —
Обратно под своды гортани
Рванулась запряжка быков.

«Уни» и «ани» — характерные для армянского языка окончания слов; таково, например, древнее название Еревана — «Эребуни»⁶.

Поскольку текст приведенной редакции дошел в уже перебеленной записи, невидимо первоначальное ядро, из которого развилась система образов. Нельзя проследить за последовательностью рождения мотивов, за «рабочими» ассоциативными ходами. Ассоциации следуют

⁴ Строфы 1, 2 опубликованы Н. И. Харджиевым в указ. изд., с. 286.

⁵ Взято в кавычки мною. — И. С.

⁶ Эта догадка помогла прочтению текста (начертание «уни и ани» неразборчиво).

друг за другом уже линейно, без смысловых зигзагов, столь характерных для первоначальных черновиков Мандельштама: ребенок — детский рисунок — труд как детская игра со зверятами (барсы) — женский тип, как детский рисунок и как львиная красота.

В этой последовательности и в этом разнообразии мотивов обращает на себя внимание любопытное обстоятельство. Мотивы — однородны, в сущности идентичны по смысловому значению, хотя воплощены в различных тематических рядах: выпекание хлеба, география и история страны, характерный тип, архитектура, язык.

Когда многие из этих мотивов распределены по разным стихотворениям цикла, их однородность (идентичность) стала менее заметной, благодаря разрывам, отграниченности одного стихотворения от другого. В линейной композиции одного стихотворения — зародыша цикла — эта особенность мандельштамовской метафоры выступает гораздо яснее.

Равнозначность мотивов (разумеется, не абсолютная) создается путем их расширяющегося в охвате совмещения-приравнивания.

Детскость, простота, звериность, женское начало совмещены в строфах 1, 5; к детской игре приравнен труд, одновременно совмещенный и со «звериным» мотивом в строфе 2; все это в совокупности приобретает окраску красоты, благородства и мощи (зверята-барсы, лев — 2, 5). Так в строфах 2, 5 оказываются совмещены благородство, мощь, труд, детскость, звериность, простота, простота, детское и женское начало — через барсовы шкурки, детский рисунок, игру и льва.

Легкость детской игры тут же оборачивается тяжестью труда, ибо это игра с хлебом и барсом.

Далее детское, женское, звериное, трудовое начала объединяются через тяжесть и натугу физического деторождения. Женские роды даны как тяжкий труд, звериное напряжение, мука, в «бычьей» метафоре 8-й строфы. Труд, обусловленный историей и географическим положением, его простота («москательный», «гончарный»), тяжесть, мука, терпенье — в строфах 3, 4. В звериной (также «бычьей») метафоре труда дан мотив архитектуры «мужицких бычачьих церквей» (7). К орудиям простого, благородного, тяжелого, терпеливого ремеслен-

ного труда приравнено начертание букв («кузнечные клещи», «скоба»).

Армянская речь, ее артикуляция и судьба воплощены в уже упомянутой метафоре родов. Труд и натуга физических родов — таково рождение языка. Роды — физический акт деторождения и натужной речевой артикуляции, произнесения слов. Нутряные («багряные») «уни и ани» — это крик роженницы и специфика устройства армянских слов. Трудность, физиологическая напряженность артикуляции дана в заключительной «бычьей» метафоре («Рванулась запряжка быков») ⁷.

Язык оказывается привилегированным символом Армении. В заключительной строфе многие из мотивов (если не все) свернуты в образ языка, в метафору рванувшейся запряжки быков.

В конечном счете бык и лев оказываются в стихотворении эмблемами Армении. Замечательно, что если в данной редакции к языку отнесен только мотив быка, то в одном из дальнейших вариантов появится, как увидим, и мотив льва («слушаем львиные речи»).

Чужие языки — одна из тем творчества Мандельштама (итальянский, немецкий). Они у него располагаются одновременно в крайних точках на оси свое-чужое. Само глубокое осознание чуждости было ступенью освоения. Армянскую речь, как известно по прозаической «Армении», поэт пытался изучить и сразу «усвоил» те ее признаки, которые радикально отличают ее от языков европейских.

Парадоксально, что все указанные мотивы, в том числе речь, от начала и до конца стихотворения сопряжены с мотивом уничтожения и смерти.

Детскость связывается с распадом — ломается, крошится мел у ребенка — (1); зверята — убитые (2); географическое положение — на мертвых равнинах, на жухлом материке, который почил (3, 4) ⁸; жизнелюбие владык неотделимо от их казнейлюбивости (4); характерно и «кро-

⁷ Армянскому языку много внимания уделено и в прозаической «Армении». В стихах концепция оказывается сложнее в силу большей ассоциативности поэтических образов.

⁸ Характерно — «вадали якорей и трезубцев». Море, приморье у Мандельштама — всегда среда, благоприятствующая жизни материальной и жизни культуры.

ви моей не волнуй» (5); молодые гроба (6); потухающая речь (7), и особенно «обратно под своды» (8). В этой последней строфе роды парадоксально происходят в обратном направлении, снаружи вовнутрь, в небытие. Натуга этих великих обратных родов венчает все построение и сводит воедино значения предшествовавших мотивов. Рождение языка, тяжесть этого рожденья, натуга артикуляции открыто ассоциируется с уничтожением («обратно под своды гортани»). А до этого, в 6-й строфе, в уподоблении начертаний букв орудиям живого ремесленного труда (скоба, кузнечные клещи) имелись в виду надгробные надписи ⁹.

Совмещение рождения со смертью, молодости с гробами пронизывает текст. В открытом выражении это будет дано в дальнейших вариантах заключительной строфы.

Итак, богатое разнообразие предметов изображения в метафорической структуре этого стихотворения оборачивается концептуальным единообразием. Противоречие это кажущееся. По своей природе метафора, полностью уподобляющая одно явление другому, в смысловом отношении их уравнивает, хотя, как предметы изображения, они различны. На уяснение этого теоретического положения подробный анализ ранней редакции стихотворения Мандельштама проливает дополнительный свет.

Перписанное набело, вполне завершенное стихотворение сразу же превращается автором в черновой материал. Но многократно переправляются только две последние строфы. И это выражает главный принцип работы поэта: он не шлифует текст, а продолжает развивать сюжет путем присоединения новых мотивов, пока еще в границах прежнего финала.

Поправки дают такой его вариант:

Раздвинь осьмигранные плечи
Мужичьих своих крепостей,
В очаг вавилонских наречий
Открой мне дорогу скорей.

Я твердых ищю окончаний,
В огонь окунаемых(?) слов,
Обратно под своды гортани
Рванулась шестерка быков.

⁹ И в прозаическом «Путешествии в Армению», и в черновиках стихотворной «Армении» не раз фигурируют каменные «вадлики» надгробий.

Центральным здесь является новый мотив «вавилонских наречий». Он генетически связан с мотивом обратного пути (обратные роды) прежней редакции. Сама эта метафора снята, но одно из ее значений сохраняется и получает дальнейшее развитие: обратный путь = дорога в древность. Армянский язык (народ) трактуется как живая манифестация давно исчезнувшего (так снова совмещены жизнь и смерть).

Новый мотив Вавилона вызвал все же несколько отдельных поправок по тексту. Вместо церквей — крепости; вместо запряжки — шестерка быков, чем поддерживается вавилонский колорит и впечатление мощи.

Сняты «уни» и «ани». Это делает текст внешне более простым, однако введена другая и совсем не простая метафора огнеупорности слов. Мотив огня был подготовлен в предшествовавшей редакции цветовой метафорой слов («багряные»). Согласуются огонь и очаг, хотя в слове «очаг» актуальнее значение не пламени (печь), а средоточия, первоисточка.

Этот сугубо черновой вариант был только пробой. Оба последних четверостишия, включая рассмотренную правку, в рукописи зачеркиваются. На полях — полная перестройка финала. Характеристика языка ограничена только одной строфой вместо трех («Как люб мне язык твой зловещий»). В двух финальных строфах предметом изображения становится быт и образ жизни, в более прямой, не символической трактовке:

Как люб мне натугой живущий
Столетьем считающий год
Рожающий спящий орущий
К земле пригвожденный народ¹⁰.

Лишь кой-где веселый мальчишник
Уживчивый праздничный хмель
Но серо-зеленый горчишник —
Безжизненный пластырь земель¹¹.

¹⁰ Строфа написана справа на полях рукописи и отнесена стрелкой к своему месту после строфы «Как люб мне язык твой зловещий». Зачеркнута, но затем (выше) написана еще раз.

¹¹ Строфа — слева на полях. Пробовался также вариант начала этой или предыдущей строфы: «А там в архалуке оглохший» (2-й стих не поддается прочтению).

Повторение оборота («Как люб мне...») органично — ведь язык и ранее был в стихотворении высшим символом народа. Акту родов возвращено прямое значение. Исключен мотив Вавилона, но свой след он оставил (мотив столетий). Новый мотив — безрадостность жизни, данная в картине редкого веселья («лишь кой-где»). По существу в новых образах сохраняются основные элементы прежней концепции. «Столетьем считающий год» — концентрация мотивов тяжести (исторической и трудовой, патриархальной). Пригвожденность к земле имеет смысл не только связи с почвой, но и по-прежнему удаленности от моря. Безжизненность земель — вариация мотива мертвых равнин. Горчишник, пластырь — уточняющие метафоры, выражающие, по сути, тот же смысл, через признак окраски — серо-зеленый — и лечебную функцию (последнее будет развито в дальнейших вариантах).

В результате такой правки всего двух строф появилось много новых образов. Оказались вытеснены прежние. Впрочем, предстоит их возвращение в дальнейших редакциях, а также создание на их основе самостоятельных стихотворений. Рассматриваемая рукопись уже содержит признаки того, что наличный текст одного стихотворения автор пробовал превратить в цикл из нескольких стихотворений меньшего объема.

Строфа «Как люб мне натугой...» зачеркивается. Возможно, что этим самое стихотворение сначала превращалось в 7-мистрофное, и после строфы «Как люб мне язык...» предполагался сразу финал — «Лишь кой-где веселый мальчишник». Однако зачеркнутая строфа восстанавливается в правах (ее текст без изменений записан тут же вторично)¹². Под 5-й строфой видна четкая черта — знак отделения первых пяти строф от последующего текста. Автор попробовал таким способом превратить одно 8-мистрофное стихотворение в два — пятистрофное, оканчивающееся словами «От львиной своей красоты», и трехстрофное (из четверостиший «Как люб мне язык...», «Как люб мне натугой...» и «Лишь кой-где веселый мальчишник...»). Так впервые зафиксирован замысел цикла стихотворений, посвященных Армении.

¹² Линия зачеркивания превращена в стрелку, снова относящую эту строфу к месту после слов «И каждое слово — скоба».

Не ранее этого момента в творческой истории рассматриваемых стихов появилось на рукописи название «Армения»¹³. Оно относится не к первоначальной редакции стихотворения «Ломается мел и крошится...», а уже к циклу, хотя и состоящему только из строф этого стихотворения.

На той же рукописи зафиксирована еще попытка перестройки — превращение стихотворения «Ломается мел...» в цикл из 3-х небольших стихотворений. Первые две строфы заключены в большую квадратную скобу¹⁴, и рядом поставлена римская цифра. Знак отделения (черта) после строфы «Как люб мне язык твой зловеций» сохранен. Можно предположить, что первым стихотворением в этом маленьком цикле и мыслилось двухстрочное («Ломается мел и крошится...», «И с хлебом играющий в жмурки...»), — цифра I этому убедительное свидетельство. Вторым — трехстрочное («Страна москательных пожаров...», «Вдали якорей и трезубцев...», «И крови моей не волнуй...»). Третьим — также трехстрочное («Как люб мне язык...», «Лишь кой-где веселый мальчишник...»).

Таковы перипетии судьбы самой первой из сохранившихся редакций стихотворной «Армении». Автор продолжал ее полное преобразование.

Следующие этапы работы представлены разорванной надвое прижизненной машинописью в нескольких экземплярах. На каждом из них — правка, позволяющая реконструировать еще несколько редакций, по-прежнему различающихся финальными строфами, но также и с попытками нового начала.

Естественно рассмотреть машинопись, какой она была до правки — ведь ею представлена вторая беловая редакция стихотворной «Армении».

Машинопись уже с самого начала озаглавлена («Армения»). Текст состоит из восьми строф. Первые шесть — такие же, как прежде. Для финала использованы не строфы «Я твердых ищу окончаний...» и «Лишь кой-где веселый мальчишник», а две другие — из прежних вариантов, но в обратном порядке:

¹³ Размашисто надписано автором над стихотворением. Характер почерка отличен от даты, авторизовавшей первоначальную редакцию (см. выше).

¹⁴ На левой стороне листа.

Как люб мне натугой живущий,
Столетьем считающий год,
Рожающий, спящий, орущий,
К земле пригвожденный народ.

Раздвинь осьмигранные плечи
Мужичьих своих крепостей,
В очаг вавилонских наречий
Открой мне дорогу скорей¹⁵.

Третья редакция (черновая) — результат правки этой машинописи. На полях размещены 11 черновых вариантов нового начала и 6 вариантов заключительного четверостишия¹⁶. Радикальная перестройка начала могла стимулировать тем, что перед этим была проба выделить строфы «Ломается мел...» и «И с хлебом...» в отдельное стихотворение. Уточняется мотив детских цветных карандашей — их вынимают из пенала. Вводится мотив творения армянской земли. Движение назад, в древность, доходит до своей изначальной точки:

[Создатель], чтоб ты не пеняла
На скудость природы своей
Из детского вынул пенала
С полдюжины карандашей

И выбрал для [бешеной] маски
[Достались <пробел> в удел]
Лишь самые главные краски
Которыми демон(?) владел¹⁷.

Этот первый вариант нового зачина, по аналогии с прежним, двухстрочен; следующие однострочны. Зачеркнутое «Создатель» почти во всех заменяется львом. Скудость природы компенсируется преобладанием в ней «главных красок», а также (после варианта с Создателем) мощным и прекрасным символом Армении — львом:¹⁸

¹⁵ В том, что машинописная редакция более позняя, чем рассматривавшийся выше авторизованный список с поправками, нет сомнений, поскольку здесь уже использована правка строки «мужичьих бычачьих церквей» на «крепостей», а выработывавшаяся в черновых набросках на полях строфа «Как люб мне натугой живущий...» включена в основной текст. Кроме того, машинопись уже сразу озаглавлена «Армения».

¹⁶ Многое поддается прочтению с трудом.

¹⁷ Обе строфы — слева на полях.

¹⁸ Известно по воспоминаниям жены поэта, что далее «рисующий лев» был подсказан пеналом с изображением льва (рисующего?).

И выбрал чтоб ты не пеняла
На скудость природы своей
(Рисующий)¹⁹ лев из пенала
(С полдюжины) ¹⁹карандашей

[Создатель], чтоб ты не пеняла
На скудость природы своей
Чтоб охрою ты прокричала
Взял дюжину карандашей...²⁰

Чтоб все не по-нашему стало,
Взял хитрую лапой своей
Рисующий лев из пенала
С полдюжины карандашей²¹

И выбрал чтоб ты не скучала
Хитрейшею лапой своей
Рисующий лев из пенала
С полдюжины карандашей.

Ты красок себе пожелала —
И выхватил лапой своей
Рисующий лев из пенала
С полдюжины карандашей.

Иль птица ее рисовала?
Иль хитрую лапой своей
Раскрашивал лев, из пенала
Взяв дюжину карандашей?²²

Предпоследний из этих вариантов — «Ты красок себе пожелала...» — подчеркнут автором, что означает предпочтительность его перед другими. В конечном счете он и будет взят как основной. Отдельную группу на полях этой машинописи составляют наброски вариантов зачина с историко-географическим сюжетом:

Окрашена охрою хриплой
Заставлена <пробел> горой
Ты потом и кровью полита
На желтой подошве земной.

Облуплено (?) бедное небо
Трава как седины виска.
Дома²³ из тюремного хлеба
Из мякиша строит (?) тоска.

¹⁹ Левый край листа оборван.

²⁰ Этот и предыдущий вариант зачина находится слева на истлевшем сгибе нижней части разорванного пополам листа машинописи с полным текстом стихотворения.

²¹ Текст следующих двух строф — результат сложной правки данной строфы.

²² Строфа написана внизу справа на полях.

²³ Переправлено из «Ты вся».

Она изнывает²⁴ в застенке
Лекарственной злой тишины
И солнца персидские деньги²⁵
Ар(мянской) зсм(ле) не нужны.

У дряхлого мира в застенке
Томилаь она искони
И вот как персидские деньги
Ненужными сделались дни.

Вариант зачина с рисующим львом был оптимистичнее, благодаря детскому, игровому сюжету (лишенному при этом амбивалентности старого зачина с «убитыми зверятами»).

Ряд мотивов здесь на свой лад повторяет прежние. Окраска — прежде серозеленая, теперь более яркая (охра), но также из невеселых. Желтизна почвы — это уже было. Лекарственная тишина — эпитет восходит к прежнему мотиву лечебных снадобий (пластырь, горчишник). Дряхлость — аналог древности (с отрицательным знаком), то же — «искоини». «Окрашена охрою хриплой» — близко к «чтоб охрою ты прокричала»; вся строка инструментована: окр-охр-хр. Метафора хрипlosti будет далее использована (не в привычке поэта сразу отказываться от найденного образа).

Впервые включена в систему образов «гора» (еще не названный Арарат) — важнейшая особенность пейзажа Армении. Она дана также как примета обиженности, обделенности земли, которая заставлена горой, отнявшей часть неба. С этим же значением связан «застенок», «тюрьма» и даже «тишина» (злая), и даже, косвенно, мотив «ненужного» солнца (связан с «бедным небом»). Персидские деньги — примета далекого прошлого, древности, дряхлости («ненужными сделались дни»).

Во всех этих вариантах зачина стихотворения сразу вводится мотив трудной природы и трудной истории, между тем как ранее сама эта тема возникала только в 3-й строфе. Стихотворение приобретает большую тематическую компактность (ведь далее следовали бы строфы с этой же темой: «Страна москательных пожаров...» и т. д.).

В этом отношении характерны и варианты заключительных строф третьей редакции.

²⁴ Вместо зачеркнутого «истомилась».

²⁵ Использовано в стихотворении «Орущих кампей государство».

Они также содержатся в черновой правке на этом же экземпляре машинописи. Между строфами «Как люб мне язык...» и «Как люб мне натугой...» вновь вписана отброшенная во второй редакции строфа из редакции первой («Багряные» «уни» и «ани»)²⁶. В строфе «Раздвинь осьмигранные плечи...» (последней в машинописи) сделана поправка (ее характерность уже отмечалась выше):

Послушаем львиные речи
(...)²⁷ твоих сыновей.

Затем вся эта строфа зачеркнута. На полях написано (под диктовку) еще одно четверостишие:

Твое пограничное ухо
Привыкло к карточной ²⁸ тиши
Желтуха, желтуха, желтуха
В проклятой горчичной глуши.

Оно переправлялось в свою очередь:

Кто ты? Молодая? Старуха?
Привычно к карточной тиши
Твое пограничное ухо —
Все звуки ему хороши²⁹.

Здесь в прямом выражении дана одна из ключевых метафор стихотворения (сравним в 6-й строфе «молодые гроба»). «Карточная тишь» (на границе) — характерный для Мандельштама оксюморон (парадокс). Поэт все же пожертвовал этим интересным вариантом и вернул мотив окраски (одновременно слив его с мотивом болезни):

Кто ты? Молодая? Старуха?
Цветной карандаш искроши —
Желтуха, желтуха, желтуха
В проклятой горчичной глуши³⁰.

²⁶ Не полностью, под диктовку, рукой Н. Я. Мандельштам, справа на полях (чертой отнесено к своему месту).

²⁷ Оставлены не зачеркнутыми слова «Открой мне». Либо поправка второпях не закончена, либо мыслалась строка «открой мне твоих сыновей». Последнее маловероятно, но не может быть совершенно исключено.

²⁸ Очень неразборчиво, но читается именно это слово, согласующееся с контекстом.

²⁹ Дважды набрасывалось автором; второй раз — начисто. Вопросительный знак после слова «молодая» отчетливо виден.

³⁰ Эта строфа есть и в другой, белой копии. Приведена в издании «Библиотеки

Так завершался третий этап истории текста. Замыкался, казалось бы, круг ассоциаций от первой к последней строфе: охра, желтая земля (подошва), желтуха; цветной карандаш (крошащийся) даже соединял этот финал с прежним началом (быть может, мыслившимся как отдельное стихотворение — «Ломается мел и крошится»).

В конечном счете третья редакция сканчивалась строфами «Как люб мне натугой живущий...» и «Твое пограничное ухо» (последнее — с использованием во 2-м стихе приведенного варианта 4-го стиха):

Твое пограничное ухо —
Все звуки ему хороши —
Желтуха, желтуха, желтуха
В проклятой горчичной глуши.

Вся редакция сугубо черновая. При переломке автором проставлены номера строф (1—7). Весь текст перечеркнут несколько раз.

Четвертая (также черновая) редакция — на другом экземпляре все той же машинописи³¹. Уже набело переписан³² окончательный, восторжествовавший над другими десятью, вариант зачина («Ты красок себе пожелаала...»). Проставлена цифра 2—означавшая место стихотворения в продолжавшем формироваться цикле. Возможно, что место первого стихотворения еще занимали две строфы старого зачина. Последнее четверостишие (это в машинописи всегда «Раздвинь осьмигранные плечи...») также зачеркнуто. Вместо него набело вписана³³ строфа, вырабатывавшаяся перед тем — «Кто ты? Молодая? Старуха...», но затем зачеркнута и она. Стихотворение завершалось теперь такими двумя строфами:

Твое пограничное ухо —
Все звуки ему хороши —
Желтуха, желтуха, желтуха
В проклятой горчичной глуши.

Как бык шестикрылый и грозный
Здесь людям является труд,

поэта». «Старуха» — сравним более ранний образ «травы как седины виска».

³¹ Также сохранился разорванный надвое.

³² Рукой Н. Я. Мандельштам, рядом с постоянно зачеркивавшимися двумя строфами прежнего начала («Ломается мел...» и т. д.).

³³ Рукой Н. Я. Мандельштам, справа на полях.

И кровью набухнув венозной,
Предзимние розы цветут³⁴.

Наконец, пятый этап работы отра-
зился в пометах, на новый лад распре-
деляющих этот (наичисто скопированный)
материал в цикл³⁵. Над текстом опять
поставлена цифра 2. Проведена черта
над строфой «Твое пограничное ухо...».
Тем самым: восстанавливался финал
третьей редакции, а новая строфа «Как
бык шестикрылый и грозный...» изоли-
ровалась. Последнее очень важно, так
как косвенно подтверждает правомер-
ность его публикации в качестве отдель-
ного стихотворения³⁶.

Есть еще один экземпляр той же ма-
шинописи. Он свидетельствует о непре-
кращавшихся колебаниях поэта. Сначала
зачеркнуто, затем восстановлено³⁷ пер-
вое четверостишие — «Ломается мел...»;
второе — не зачеркнуто: вписано³⁸ и от-
несено к месту после строфы «Как люб
мне натугой...» четверостишие «Кто ты?
Молодая? Старуха?..» Получалась еще
одна композиция, из 9 строф.

Окончательный текст содержит пять
строф. Остальные строфы и их варианты
послужили основой для самостоятельных
стихотворений все увеличивавшегося цик-
ла. Отдельным стихотворением, но не
вошедшим в цикл, стали строфы «Как
люб мне натугой...» и «Твое погранич-
ное ухо». Оно опубликовано в издании
«Библиотека поэта» и в американском
четырёхтомнике, по рукописному сбор-
нику 1935 года.

Необходимо разобраться в «правах»
замечательного четверостишия «Как
бык шестикрылый и грозный». Мы виде-

³⁴ Набело, слева на полях. В одном из ва-
риантов: «Быком шестикрылым и гроз-
ным...». Шестикрылому быку предшество-
вала шестерка быков в более раннем вари-
анте.

³⁵ Беловая запись рукой Н. Я. Мандель-
штам, из строф: «Ты красок себе пожела-
ла..», «Страна москательных пожаров...»,
«Вдали якорей и трезубцев...», «И крови мо-
ей не волнуя», «Как люб мне язык...», «Как
люб мне натугой...», «Твое пограничное
ухо...», «Как бык шестикрылый и грозный».

³⁶ В собрании М. А. Зепкевича и в семей-
ном архиве имеется отдельная запись (ав-
тограф) этого четверостишия.

³⁷ Волнистой чертой слева.

³⁸ На полях справа, рукой Н. Я. Мандель-
штам.

ли, что оно было изолировано автором и
им самим отдельно переписывалось. Воз-
можно, что в первой журнальной публи-
кации оно выпало по внешним причинам
и что автор им дорожил. В рукописном
сборнике 1935 года оно фигурирует как
самостоятельный текст, предшествующий
всему циклу «Армения»³⁹.

Во всяком случае, это четверостишие
— еще один прекрасный текст Мандель-
штама, и очень характерный для прин-
ципов его работы. Возникшее одним из
последних среди вариантов разбирав-
шихся нами строф, оно выросло из преж-
них мотивов: тяжкого труда; вавилонской
древности; шестерки быков (бык — те-
перь мифический, шестикрылый); ста-
рости (венозная кровь, поздние — пред-
зимние — розы). Но образы его — со-
сем новые и по-другому впечатляющие.

Среди черновых набросков к прозаич-
еской «Армении», — в небольшом очер-
ке, условно нами названном «Читая Пал-
ласа»⁴⁰, Мандельштам, говоря о старин-
ном писателе, употребил выражение
«... он надставляет свой горизонт...». Не
буквально, конечно, но в какой-то степе-
ни это может быть отнесено к образо-
творческому процессу у Мандельштама.

Невозможно утверждать положитель-
но (и, конечно, никогда не появится под-
тверждающий нижеследующую ассоциа-
цию намек), знал ли (впрочем, вероятно
знал), вспомнил ли в какой-то момент
Мандельштам шуточное стихотворение
Жуковского «Бык и роза». Так или ина-
че, непространно обрабатывавшийся мотив
быка — в этом четверостишии дополнен
мотивом розы. Столь характерная реалия
природы страны здесь возникла впервые.
А далее, с разворачиванием цикла, ей
предстоит стать еще одним символом Ар-
мении: «Закутав рот, как влажную ро-
зу...», «Холодно розе в снегу», «венце-
носный шиповник», «добудем розу без
ножниц» («Руку платком обмотай...»),
«розовый мусор, муслин» (там же). В
нескольких стихотворениях цикла мотив
розы — решающий. И, может быть, са-
мое главное то, что мотивом розы в окон-
чательной редакции открывается весь
цикл:

Ты розу Гафиза колынешь...

³⁹ Список делался под наблюдением поэта.
Под четверостишием отдельно поставлена
дата: октябрь 1930. Является ли оно здесь
эпиграфом — графически неясно; скорее нет.

⁴⁰ «Вопросы литературы», 1968, № 4.

Это стихотворение также выросло из мотивов и отдельных строк ранних редакций стихотворения «Ты красок себе пожелала...». Имя Гафиза (уточнение к розе) — имеет (косвенно) соответствие в персидских мотивах прежних вариантов. В стихотворение вошли почти нетронутыми мотивы первой и третьей редакций («осьмигранные плечи /Мужицких бычачьих церквей», «Чтоб охроу ты прокричала», «Окрашена охроу хриплой», «Заставлена... горой»).

Стихотворение «Ты розу Гафиза колыхнешь» (не приводим его) и в других отношениях целиком строится на основе прежней, подробно разобранный выше авторской концепции. Как раньше, но уже совсем явственно, сведены воедино темы детскости и звериности:

И нянчишь зверушек-детей.

По аналогии с детским рисованием, с которого начинался весь сюжет, подключилось еще одно сходное детское занятие — переводные картинки:

А здесь лишь картинка налипла
Из чайного блюда с водой.

Сохранились и отрывочные наброски, совмещающие этот новый образ с прежними мотивами исторической обиженности:

На требе истории хриплой
Звучат далеко⁴¹ за (горой)

Плечьми осьмигранными дышишь

На том же автографе — слово «декалькомани» (т. е. переводные картинки). Может быть, это признак того, что мыслился и такой вариант:

На требе истории хриплой
Звучат голоса за горой
А здесь лишь картинка налипла
Из чайного блюда с водой

(3-й и 4-й стих берем условно из окончательного текста). «Истории хриплой» — новый перенос уже употреблявшегося эпитета: в прежних редакциях было «охроу хриплой». Обделенность историей подразумевается и в окончательном тексте стихотворения «Ты розу Гафиза ко-

лышешь...», хотя слово «история» отсутствует: ее символом является гора (Ара-рат):

Ты вся далеко за горой.

Так, объединяя в группы разные варианты первоначального большого стихотворения, Мандельштам создал по меньшей мере три (а может быть, и четыре) самостоятельных стихотворения. Два из них — основополагающие для цикла «Армения», одно — не вошедшее в цикл, а также, по-видимому, и еще одно, — из четырех строк, — «Как бык шестикрылый и грозный...». Группировка вариантов в самостоятельные стихотворения и таким способом создание из них цикла были частично применены и в работе над стихами Андрею Белому.

Половина стихотворений всего печатного цикла «Армения» (№№1—6) либо текстуально, либо мотивами теснейшим образом связана со своим первоисточком — стихотворением «Ломается мел и крошится...».

В «Ах, ничего я не вижу...» — и булочник, играющий в жмурки, и лев, и птицы, и шкурки (лаважные); хриплая охра, оглохшее ухо, ограниченность зрения (была «заставленность» горой).

В «Закутав рот, как влажную розу...» — и роза, и географическая среда (здесь это «окраина мира», мотивы осьмигранности, москательности, Вавилона («улиц... Вавилоны»), смерти («И с тебя снимают посмертную маску»).

В «Орущих камней государство...» в новом соотношении даны почти исключительно прежние мотивы: «орущие камни» — это контаминация, при посредстве переноса эпитета (было ранее — «орущий (...) народ» и «среди камней»). Мотив хрипlosti («хриплая охра») перенесен на горы («хриплые горы»). «Солнца персидские деньги» — и это было, хотя и в другой трактовке.

В стихотворениях второй половины цикла (№№7—12) реминисценций первоначального текста меньше, они не всегда прямые, но имеются и там («звериность» — «звериное и басенное христианство» в «Не развалины, нет...»; там же птички и звериные уподобления предметов). «Весь воздух выпила огромная гора» — это снова вариация «заставленности» горой. В окрашенном грустью «Я тебя никогда не увижу...» — близорукость, как метафора «бедного», умень-

⁴¹ Вариант: голоса.

щенного в обзоре неба; тут же фигурирует Арарат (ранее была «заставленность» горой). От прежних «гончарных равнин» — метафора «авторов гончарных», «Книги» земли. В последнем стихотворении цикла («Лазурь да глина, глина да лазурь») эти мотивы разыгрываются непосредственно вслед за стихотворением «Я тебя никогда не увижу...». Опять мотив однообразия окраски, прищуривания глаз. Близорукость отнесена к новому лицу в сюжете — шаху, но само появление шаха подготовлено персидскими мотивами прежних вариантов.

Приведем еще несколько черновых вариантов стихотворений цикла. Окончательный текст стихотворения «Руку платком обмотай и в венценосный шиповник...» — результат переработки и сокращения оставшегося в черновике зачеркнутого трудночитаемого стихотворения, с образами, появившимися впервые:

Ты только погляди на армянские
кладбища —
Землетрясеньем раскиданные рыжие
валки
Похожие на футляры от швейных
машин [Зингера]⁴²

Чем-то испуганные, в беспорядке
бегущие⁴³
Здесь слышен храп румяных царей
и бородатых ангелов⁴⁴
Извиняющийся⁴⁵ храп неграмотных
святенников
Свирящийся храп носатых
филистеров
Патриарший храп <нрзб>
ремесленников
И буйволиный храп крестьян.

Армянские могилы (надгробия) прилекли пристальное внимание поэта. В печатном прозаическом «Путешествии в Армению» они фигурируют, но не без пронон, в главе «Севан» (с тем же эпитетом — «рыжие»). В подготовительных записях к «Путешествию в Армению» (так называемые «Записные книжки»)

⁴² Слово «Зингера» зачеркнуто еще до отмены всего текста.

⁴³ Ниже зачеркнутые слова: Я не останусь(?) скисать(?).

⁴⁴ Выше зачеркнуто: Разве это смерть? Здесь слышен храп.

⁴⁵ Зачеркнуто: дружный.

упоминаются «валики» надгробий, в том же уподоблении футлярам от швейных машин, что и в процитированном наброске стихов. Небезразлично для смысла, что швейная машина ассоциируется с домашностью и трудом.

Первоначально найденная еще для стихотворения «Ломается мел...» формула — «молодые гроба» — здесь развернута в подробную картину живого, богатырского патриархального отдыха сна. Если там приравнивалась жизнь к смерти, то здесь — смерть к жизни («Разве это смерть?...»); в сущности и там и здесь это дано как одно и то же. Разумеется, аналогом прежним «бычачьим» метафорам является «буйволиный храп» покойников. Кладбище связывает живущих и умерших, нынешних и древних.

Есть также черновой набросок (частично вошедший в окончательный текст стихотворения «Руку платком обмотай...»), где фигурирует роза (шиповник) и где сама роза оказывается включенной в систему древности («лепесток соломоновый»), вместе с обрушенными древними колоннами⁴⁶. Выстраивается ряд: роза, как драгоценное и простое сырье в архаическом производстве, и, в той же роли, колонна:

А шиповник Звартноца осыпающийся
при первом прикосновении
Розовый мусор — муслин — лепесток
соломоновый
И для шербета негодный дичок
Не дающий ни масла, ни запаха?
Роза фаэтонщика⁴⁷ и угрюмого
сторожа
Охраняющего руины запущенного
форума⁴⁸
Где срубленные(?) дубы в <пробел>
обхвата
Рулоны каменных ковров.

Слова «рулоны» (ковров) ведут к товарным ассоциациям древности, что проявится дальше в другом варианте («Товар из вавилонской лавки»).

К этому замыслу примыкает и совсем

⁴⁶ Аналогия между розой и колоннами: осыпавшаяся роза («розовый мусор...») — обрушенные колонны.

⁴⁷ Итак, даже «фаэтонщик» в одноименном стихотворении — разработка одного из мотивов «Армении».

⁴⁸ В автографе «запущенный форум». Тут же вписано слово «руины».

Нина Габриэлян

«НЕЛЬЗЯ ВЫЙТИ ИЗ ЦЕПИ ОБНОВЛЕНИЯ...»

— Покажите мне, пожалуйста, Вашу картину, такую серо-жемчужную, где еще такой большой цветок нарисован...

— Но у меня нет такой картины.

(Из разговора с художником)

Первый раз я пришла к нему более десяти лет назад. «Ты обязательно должна посмотреть его работы, — сказали мне друзья, — увидишь, это тебе будет очень близко. Твой соотечественник, замечательный художник». Я была тогда молода, самоуверенна и нетерпима к чужому мнению. Он был немолод, но не менее, чем я, резок в высказывании своих взглядов. Так мне, по крайней мере, тогда показалось. И, естественно, при первой же встрече мы поссорились. Нет-нет, я ничего дурного не сказала ему о его работах! Напротив, впечатление от увиденного было настолько сильным, что никаким другим словом, кроме — «потрясение», я и сейчас не могу его передать. Но я была молода и, как любой начинающий поэт, жаждала своей доли признания. И вот после просмотра картин меня попросили — наконец-то! — почитать свои стихи. «Прекрасно! Правда, Борис Сергеевич?» — сказали мои друзья. Они были значительно старше меня и относились к моим стихам весьма и весьма благосклонно. «Да, очень интеллектуальные стихи», — ответил художник. Я почувствовала, как приятное тепло обволакивает все мое тело. Я расслабилась. И тут он выпалил: «Очень интеллектуальные стихи. Они идут не от сердца, а от головы!» Я оторопела. Удар был неожиданным и для юного самолюбия слишком сильным. Это было дико обидно! Это было несправедливо! «Нет-

нет, Борис Сергеевич, — вступились за меня друзья, — Вы просто, наверное, не почувствовали с первого раза. Это очень эмоциональные стихи». — «Может быть, может быть, — смягчился художник, взглянув на мое окаменевшее от обиды лицо, — прочтите еще раз последнее стихотворение. Я попробую вчувствоваться». — «Не буду», — уперлась я. «Но почему, Ниночка? — удивились друзья — Прочти, пусть Борис Сергеевич еще раз послушает». — «Мне не хочется. Я вообще не люблю читать стихи вслух. Есть стихи, которые надо воспринимать только глазами, с листа», — отрезала я.

На обратном пути, в метро, я дала волю своим чувствам. Моим друзьям пришлось выслушать все, что я думаю об «этом грубом человеке и о его полном непонимании поэзии». «Да, он замечательный художник, не спорю, но он абсолютно ничего не понимает в литературе, впрочем, как и все художники», — ярилась я. Не менее, чем я, огорченные друзья пытались меня утешить: «Ничего страшного. Мы же предупреждали тебя, что он сложный человек...» — «Я тоже сложный человек!» — бушевала я в ответ. «В следующий раз все будет по-другому. Он просто не воспринял твои стихи с первого раза». — «Никакого следующего раза не будет. С меня и этого раза достаточно!»

Ночь я провела беспокойно. В сон втор-

гались картины художника. Желтые, багровые, синие, нестерпимо яркие и, при всей своей цветовой перенасыщенности, а может быть, и вследствие ее какие-то коварно-зыбкие, тревожно-неуловимые, они наплывали одна на другую, перетекали друг в друга, мерцали и мучали меня. И вообще, это были не картины, а какая-то желто-сине-красная протоплазма, которая дрожала, пульсировала, набухала, как будто там, в глубине, вершилась какая-то непонятная, но важная работа. Порой весь этот пульсирующий, перенасыщенный и явно органический раствор в разных местах поверхности сгущался почти что до плоти — и тогда из радужного студня вдруг проступало лицо, потом рука, или вдруг вылезал отросток непонятного растения. «А как называется эта картина?» — прозвенел из глубины то ли сна, то ли памяти мой собственный голос. «Золотое счастье», — отвечал голос художника. «Плохое название. Почему такое банальное?» — удивлялся мой голос. — «А как бы Вы хотели, чтобы это называлось? Можете назвать это — «Солнце» или «Летнее окно». Или «Солнце в окне», пожалуйста. Или, скажем, «Жизнь». Разве плохое название? Я иду от ощущения. А каждый может назвать мою картину по-своему, как ему хочется, я не возражаю».

Сейчас я понимаю, что он был прав в своем нежелании навязывать зрителю название картины, вернее, навязывать картине нечто, гораздо менее существенное, чем она сама. И если бы меня спросили, на что похожи его работы, я бы сказала: «На марсианина — на то зыбкое таинственное существо из гениального рассказа Брэдбери, которое, попадая в поле эмоционального притяжения землян, захвативших Марс, принимало обличье, каждый раз новое и непохожее на предыдущее, в зависимости от того, кто на него смотрит. Обличье умершего сына или исчезнувшей дочери. Мужа. Жены. Преступника, которому на Земле удалось скрыться от полицейского и вот здесь, на Марсе, вновь представшего перед бдительным оком этого блюстителя порядка. То есть обличье **нашего подсознания**».

Картины Бориса Отарова обладают тем же самым странным свойством — меняться при каждом новом предъявлении, не совпадая с тем образом, который у тебя уже сложился. Она ведь была

желто-красной, эта картина, а теперь почему-то коричнево-янтарная. Или же:

— Борис Сергеевич, покажите, пожалуйста, Вашу картину, с такими штука-ми (говорящий делает жест рукой, долженствующий передать нечто не выразимое словами).

— Какими штука-ми?

— Ну... Скалы там. И лодки. Сине-коричневая такая.

Долго роется в картинах (именно роется, потому что в крохотной однокомнатной квартире, служащей еще и мастерской, развесить картины негде, а их очень много, и они жмутся, стоя на полу, друг к другу). Наконец:

— Эта?

— Нет.

— Тогда, быть может, эта?

— Да нет же!

— Значит, у меня нет такой картины!

После того, как мы с ним помирились (собственно говоря, мы не мирились, поскольку он сделал вид, что мы и не ссорились, просто позвонил моим друзьям и невинно спросил: «А почему больше не приходит ко мне в гости та юная поэтесса, ваша приятельница? Меня очень заинтересовали ее стихи». И у меня не хватило сил сердиться и дальше — желание еще раз увидеть «зацепившие» меня картины было слишком сильным), так вот после нашего «примирения» прошло уже более десяти лет, а я так и не сумела привыкнуть к его картинам. Они не поддаются «одомашниванию», не приручаются. И сейчас, как много лет назад, я затрудняюсь описать их, перевести с языка живописи на язык слов. Мне, много лет занимающейся переводом поэзии, известны такие стихи, которые слишком много теряют при переводе на другой язык, теряют главное, то есть все. И дело здесь не в даровании поэта-переводчика, а в том, что **эти** стихи принципиально непереводимы. Преимущественно это те стихи, чья сила не в мысли, не в метафоре, не в сюжете, не в идее, а в самой гармонии речи, в самой звуковой стихии, в уникальном взаимопроникновении и взаимопереплетении звуков. Логика мысли воспроизводима на другом языке (в известных пределах), логика звучания — никогда. Еще точнее, тот поэт, для которого звук — средство (для выражения чего бы там ни было — идеи, эмоции...), переводим, тот, для которого звук — цель, непереводим. Для Бориса Отарова цвет не является

средством. Цвет — это все: и цель, и смысл, и эмоция, иными словами, и философия и психология. Он живет в стихии цвета, живет цветом. Но все же попробую сделать — о нет, не эквивалентный перевод, но хотя бы грубый подстрочник одной-двух его работ.

«Клоун» из серии «Цирк». Какое у него выражение лица? Доброе? Да. Злое? Да. Страдальческое? Лукавое? Саркастическое? Грустное? Да, да и еще раз да. И такое, и такое — и вообще все это вместе. Вроде бы две половины лица. Контрастируют между собой. Явно ощущаешь, что контрастируют. Но по какому принципу? Не успеваешь этого понять, не успеваешь даже понять, какого они цвета, каждая из половин, как они тут же начинают перетекать друг в друга, отбрасывая одна на другую многоцветные блики. Цветовые идеи сливаются, образуя новое единство, мерцающее, пульсирующее, неопределенное и неопределимое. Как будто из глубины картины поступает все новый и новый импульс, новый сгусток энергии, поднимается к поверхности и — в каждый момент своего восхождения из глубины — преобразует картину.

«Укротительница» (та же серия «Цирк»). Из фрески красок, бликов, мерцаний проступает большегубое лицо и рука с длинными пальцами. Вот-вот она сделает слабое движение — и что-то произойдет с этим красочным миром. Рука, которая держит мир. Притягательно-страшный мир. Или страшно притягательный, что в данном случае одно и то же.

О нет, отнюдь не случайно влечет его эта тема — «Цирк». Собственно говоря, и к многим другим его работам из самых различных серий (вплоть до пейзажей) слово «цирк» явилось бы вполне подходящим ключом. Ибо работы его — это не пейзажи, не портреты, не натюрморты (хотя и портреты, и пейзажи, и натюрморты...) — это **фантазмагории**. Отсюда вся эта клоунада красок, кричащих, перебивающих друг друга, хохочущих и рыдающих, столпившихся на одном полотне, где им явно тесно от соседства друг друга — и потому их взаимоотношения остро-конфликтны, как у Бима и Бома на арене цирка, как у Пьеро и Арлекина на театральных подмостках, как у добра и зла в человеческом сердце, как у жизни и смерти на всем необозримом пространстве мироздания.

И вместе с тем, работы Бориса Отарова не сводимы только к конфликту двух противоборствующих начал. Если бы добро и зло, черное и белое, красное и зеленое, жизнь и смерть, нежность и ярость только противостояли друг другу, то как легко было бы ориентироваться в подобном духовно-двухмерном мире. И как все усложняется от того, что Пьеро не только страшится, но и жаждет пощечин Арлекина, что жизнь и смерть страстно влекутся друг к другу и заводят такой бешеный хоровод, в котором они уже не различимы (как, например, на картине «Коррида»), что одно психологическое свойство корнями своими врастает в другое, вершиной подпирает третье, а ветвями цепляется за четвертое, пятое... Что одно качество никогда, на самом деле, этим одним качеством не бывает, потому что ни одно качество, ни одно мировое начало не самодостаточно.

Вот из серовато-зелено-жемчужного марева грубо выпирает обнаженное женское тело (картина «Обнаженная»). Сколько плотского торжества, почти что вульгарного ликования в этой зрелой наготе, победоносно шествующей навстречу зрителю. Лицо? Да, в общем-то, есть лицо. Расплывчато-условное, как бы второпях пририсованное к телу — раз принято, чтобы было лицо, пусть будет. Любос, то есть никакое, ибо дело не в нем, а в этой грубо-чувственной, первородно-мощной плоти, настолько переполненной соками жизни, что от нее исходит мерцание — зыбкое, дрожащее, делающее наготу вроде бы и не наготой, явное — тайным, ярко-плотскую чувственность — чем-то зыбким и неуловимым, вульгарность — витальностью, витальность — духовностью, грубость — уязвимостью, уязвимость — соблазном и так без конца. Тело оказывается наполненным не менее сложной и таинственной жизнью, чем лицо человеческое. Отсутствие лица (то есть его незначительность) вдруг оказывается чем-то более значительным, чем его наличие. И вся картина начинает источать тревожное умиротворение. Вообще, многие работы Бориса Отарова созданы как бы на стыке самых разнообразных, порой даже взаимоисключающих эмоций.

Стало уже расхожей фразой, когда о том или ином художнике (композиторе, писателе...) говорят: «Он похож на свои произведения» (вариант: «Он не похож на свои произведения»). Так вот Борис Ота-

ров похож на свои произведения: он обладает тем же свойством, что и его картины — при каждой новой встрече не совпадать с тем представлением, которое у тебя уже о нем сложилось. Он ведь только еще вчера был умиротворенно-просветленным, терпимым, всепрощающим, а сегодня так резко и так громко спорит, что с непривычки можно и обидеться. И я поначалу — с непривычки — сбивалась.

Я (жалуясь на него общему нашему приятелю): Не знаешь, из какого угла он завтра на тебя выскочит!

Приятель (философски): Этого он и сам не знает, из какого угла он завтра на тебя выскочит.

Наверное, и вправду не знает, потому что его очень много, так же много, как красок на его полотнах. И так же, как и эти полотна, он источает атмосферу праздника, хотя иногда для тебя это может обернуться и праздником корриды, в котором ты окажешься не столько матадором, сколько быком. А иногда этот громовержец, этот огнедышащий Везувий может на тебя вдруг совсем по-ребячески обидеться.

Я: Борис Сергеевич, давайте откроем свой театр, я буду режиссером, а Вы будете нам декорации делать.

Он (обиженно): Но я тоже хочу играть на сцене!

И уверена, он прекрасно бы играл.

Когда я о нем думаю, то первое, что приходит мне в голову, это слово «тесно». Все тесно. Тесно ему в рамках собственного «я». Он там не уместается. Вот и норовит все время вырваться куда-то наружу — вон из самого себя, за пределы плоти — за пределы, быть может, даже и самой индивидуальности, которая при всей своей духовной широте, все равно стесняет и ограничивает, поскольку она только часть вселенского целого, часть, возжаждавшая это целое познать. Ведь индивидуальность — это и уникальный инструмент познания и, одновременно, именно в силу своей уникальности, ограничитель. Канал и иллюзия одновременно. Отсюда этот порыв — вон из себя, за пределы, вовне! Не потому ли так любит рисовать он парусники. Совсем крохотные и огромные, в штить и в бурю, в зыбком утреннем мареве и в стуженном жаре полудня все они мчатся куда-то в глубь полотен, как бы преодолевая косность материи — туда, где им

навстречу открываются окна в иные пространства, в иное бытие.

Тесно и картинам в его доме. Их так много (работоспособность и продуктивность у него огромные), что непонятно, где он там с женой Лидочкой ухитряется жить, разве что на кухне.

Тесно краскам на его полотнах. Они разбухают, выпирают, норовят выйти за пределы плоскости. Объемного мазка (масло с темперой) оказывается явно недостаточным для удовлетворения яростного желания, распирающего многие полотна — желания стать равными скульптуре. И тогда в ход идут, кроме масла, темперы и пастели, гипоксидная смола, лак, камни, стекло, дерево, смальты, металл, керамика...

— Я стремлюсь перейти к объемной, даже бесконечной картине. Если бы я был миллионером, то использовал бы все современные средства, вплоть до лазера, чтобы создать лабиринт, идя через который, человек испытывал бы воздействие цвета, света, форм... Раньше меня больше всего волновала проблема цветового эквивалента тех или иных психологических переживаний. А теперь стремлюсь к цветовому симфонизму. Сейчас это для меня важнее, чем сила одного цвета. Поток цветопсихологической живописи. Создать такие цветовые переживания, чтобы они приближались к музыкальному переживанию. Чтобы живопись была временная, развивающаяся во времени. Выйти из плоскости, сделать живопись равной музыке. Ощущая, насколько мои картины отстают от того, что я говорю. ... Чтобы лабиринт был и отражением человека и его обновлением. Для меня движение самоценно, как самоценно и переживание. Важен сам импульс к разрешению противоречий человеческого существования. Хотя, конечно, важна и направленность — куда идешь? Идя через лабиринт жизни, человек не только испытывает на себе это воздействие, но и сам, в свою очередь, влияет на него и получает обратно — но уже обогащенным — тот импульс, который послал в мир. Тот лабиринт, который я мечтал бы создать, это не Критский лабиринт, где тебя поджидает Минотавр. Мой лабиринт не безысходен, но выйти из него нельзя. Нельзя выйти из цепи обновления. Не безысходность, но бесконечность. Конец — это примитивное, некосмическое понятие. Каждая моя картина — это часть лабиринта.

— Борис Сергеевич, но ведь все то, что Вы говорите — это же стремление к пантократорству!

— Да!!!

И действительно, многие его работы можно было бы назвать «Сотворение мира», хотя у него они могут называться «В горах старой Армении», «Глаз Колумба», «Кавказ», «Серия пейзажей с парусником». «Источник», «Вечерние тени» и так далее. Глядя на подобные работы, ты как бы погружаешься в странный мир мощных, но еще не завершенных, неустойчивых, неотвердевших форм. В мир, еще не распавшийся на живую и неживую материю, еще не вычленивший из себя окончательно растения и животных. Мир, где море может быть кипяще-каменным, а камень — содрогаться в родовых корчах, где растения исполнены животной силы, а свет сгущен до плоти.

Можно посетовать на то, что многие работы Б. Отарова слишком проигрывают при репродуцировании (особенно, работы объемные, фактурные...). Можно посетовать и на то, что хочется еще многое рассказать о нем и о его творчестве, а объем журнальной статьи этого не позволяет. Поэтому в завершение вкратце расскажу биографию художника.

Борис Сергеевич Отаров родился в

1916 году в армянской семье в Тбилиси. С тринадцати лет он живет в Москве, где в 1941 году окончил физический факультет МГУ. С 1941 по 1945 годы была участником Великой Отечественной войны. После войны, работая преподавателем физики и научным сотрудником в Московском Энергетическом институте, начал серьезно заниматься живописью. С 1958 года целиком посвящает себя искусству. В 1960 году становится преподавателем рисунка и живописи в Народном университете искусств (в Москве), где работает и поныне, в 1980 году в Москве состоялась персональная выставка его работ, где было представлено свыше ста работ. Не раз проходили персональные выставки его гуашей в различных институтах Москвы. Живя в Москве, художник не утратил духовной связи с Арменией. Об этом свидетельствуют его работы: «Портрет брата Ерванда», «Памяти Сарьяна», «Армянка в трауре», «Инок. Памяти Нарекаци», «Горец», серия пейзажей Армении и другие.

Он работает много и плодотворно, каждый раз затрагивая новые духовные пласты, обнажая новые срезы бытия и находя новые художественные решения, ибо ему уже давно «нельзя выйти из цепи обновления».



◆
Р. Хачатрян. Русская историческая мысль и Армения (XVII — начало XIX вв.). Изд-во АН Арм. ССР. Ереван, 1987.

Книга, которую я хочу представить читателям журнала, поступив в книжные магазины Еревана, разошлась в считанные дни. Чем же был вызван читательский интерес? Во-первых, тем, что на сегодняшний день это первое и единственное исследование о роли русской исторической науки в разработке истории нерусских народов СССР — как в целом, так и на примере отдельных наций и народов. Во-вторых, она написана в лучших традициях русской исторической литературы, когда строгая научность исследования сочетается с живостью языка и доходчивостью изложения.

Интерес русской исторической мысли к Армении имеет глубокую давность. Для иллюстрации приведем маленькую выдержку из книги: «Уже на заре русской исторической мысли автор «Повести временных лет» на основании Библии указывает, что сын библейского Ноя Яфет получил во владение, в числе прочих земель, Великую и Малую Армению». Автор отмечает, что с тех пор русская историческая мысль прошла почти тысячелетний путь и на протяжении всего этого пути ее виднейшие представители неоднократно уделяли внимание истории Армении.

Р. Хачатрян изучил и исследовал огромное количество источников и литературного материала, начиная со «Свода русских летописей» и редких книг русских авторов XVII—XVIII вв. и кончая периодической литературой исследованиями русских и армянских историков последних лет. Весь этот материал в книге преподносится в систематизированном виде. Читатель убеждается в том, что выявленные ученым факты имеют свою закономерность, свою преемствен-

ность, свою тематическую направленность.

Хронологические рамки исследования охватывают период с XVII века до первой четверти XIX. В основу структуры книги положено сочетание принципа хронологического изложения с тематическим выделением главных проблем.

Основное внимание армянский ученый останавливает на проблеме «Армения и армяне в русских источниках летописного периода» и приходит к выводу: материал русских летописей и источников свидетельствует, что в XVI—XVII вв. читающая общественность на Руси могла располагать определенной суммой знаний об Армении и армянском народе. Далее автор не без основания утверждает, что многие материалы по истории Армении, содержащиеся в русских источниках летописного периода, преемственно перешли в русскую историческую науку. Иначе говоря, русская историческая наука XVIII в. получила определенное наследие, относящееся к Армении, от летописного периода русской исторической мысли. Летописный материал, как показано в книге, был использован в трудах таких видных русских историков, как В. Н. Татищев, М. М. Щербатов, Н. М. Карамзин, С. М. Соловьев и др. В этом списке неспроста имя Татищева значится первым. Этот выдающийся ученый, государственный и общественный деятель первым в русской гуманитарной науке начал изучение истории и культуры многих нерусских народов. Автор обоснованно утверждает, что В. Н. Татищев также первым ввел в обращение и дал научные комментарии к материалам, относящимся к Армении, содержащимся в русских летописях и литературных памятниках, привел в своем «Лексиконе...» интересные данные по Армении, интересовался армянским языком, поставил в принципе вопрос о значении армянских источников для русской исторической науки.

Большое место уделено в книге трудам и сочинениям ряда русских общественных деятелей и путешественников XV—

XVIII вв., в которых содержатся материалы об Армении. Речь идет о трудах Якова Лызлова, Федота Котова, Василия Гагары, Арсения Суханова и др. В записях Котова имеются, например, интересные сведения о Ереване. Р. Хачатрян высказывает предположение, что, видимо, это одно из самых ранних, если не первое, сведение русского автора о городе Ереване, который у него именуется «Раван».

Проблема русско-армянских отношений всегда была в центре внимания как русских, так и армянских историков. В своем исследовании В. Хачатрян показал вклад русской исторической науки в разработку вопросов истории Армении русско-армянских отношений. В книге дается анализ и оценка научного значения трудов русских историков для истории Армении. Р. Хачатрян обращается к работам таких авторов XVII—XVIII вв., как А. И. Лызлов, И. И. Роликов, Нестор Искандер и другие. Мы не можем здесь не отметить, что перечисленные авторы до сих пор оставались вне поля зрения даже специалистов по истории русско-армянских отношений.

Интерес русской исторической науки к Армении и к русско-армянским отношениям преемственно перешел в XIX век. Как отмечается в исследовании, в этот период русские историки начинают проявлять особый интерес к армянским историческим источникам, в их числе и Н. М. Карамзин — крупнейший представитель русской дворянской историографии первой четверти XIX века. Н. М. Карамзин, как и В. Н. Татищев и М. М. Щербатов, начинает историю России с проблемы этногенеза славян и их связей с древним миром. В этой связи, подчеркивается в книге, Карамзин рассматривает древние источники и в их числе «Историю Армении» Мовсеса Хоренаци — труд отца армянской истории, автора V века. И здесь делается весьма любопытный для читателя вывод. Приоритет упоминания славян в мировой исторической литературе Карамзин весьма обоснованно признает за армянскими источниками и конкретно — за Мовсесом Хоренаци. До Карамзина никто из русских историков не рассматривал наследия Хоренаци в связи с историей славян. В исследовании Р. Хачатряна раскрывается и другой аспект научного наследия Карамзина. А именно — какой след оставил Карамзин в армянской историогра-

фии. Здесь главным образом имеется в виду источниковедческое наследие выдающегося русского ученого. «История Государства Российского» Карамзина, заключает автор, стала в дальнейшем ценным источником для всех, кто занимался и занимается историей русско-армянских отношений. Армянские читающие круги и армянская общественность, например, были хорошо знакомы с творчеством Карамзина. Известный армянский историк XIX в. Габриэл Айвазовский (брат великого русского мариниста Ивана Айвазовского) называл Карамзина «русским пиндаром и Фукидидом» в одном лице.

Автор книги исследует и роль русской исторической литературы в русско-армянском сближении. Учитывая профиль журнала и круг его читателей, мы несколько подробнее остановимся на этой проблеме. Прежде всего следует согласиться с автором книги, что вопрос генезиса и развития русской ориентации армянского освободительного движения в XVII—XVIII вв. в специальной литературе неоднократно увязан с историей русской общественной мысли указанного периода. Поэтому похвально уже то, что в работе Р. Хачатряна впервые в нашей исторической литературе рассматривается роль русской литературы в русско-армянском сближении.

Известно, что освободительное движение армянского народа почти с самого начала ориентировалось на Россию. В книге ставится вопрос: только ли официальная политика Российского правительства была источником вдохновения сторонников русской ориентации? Не было ли и в русской общественной мысли таких проявлений сочувствия и поддержки армянского освободительного движения, которые дали армянскому народу основание связывать свои надежды с Россией? Внимательное рассмотрение вопроса позволило автору выявить интересные параллельные проявления подобных настроений в русской и армянской общественной мысли. Р. Хачатрян отмечает, что эти настроения и в России, и в Армении были обусловлены ходом истории обоих народов и их взаимоотношениями.

Р. Хачатрян приводит следующие интересные свидетельства. В «Скифской истории...» Андрея Лызлова, опубликованной в 1692 г., его автор цитирует от-

рывок из славянской песни о турецкой неволе.

Воздыхают с плачем христианские народы,

Братия наша в плене, лишаясь свободы,
От бога убо за грехи поработенни
Турку, и тяжкими нужды отягощенни,
Плачут египтяне, греки же и армяне.
И с ними венгрове, корваты и мултяне.

Как видим, в этой песне неизвестный «древний пиит» включает армян в число «народов-братьев», находившихся в турецком плену и нуждавшихся в помощи и освобождении. Если учесть, что книга Лызлова была своего рода итогом целой полосы в истории русской общественной мысли, то содержащийся в ней и обращенный к русской общественности призыв о помощи народам, страдающим под турецким гнетом, в том числе и армянскому народу, приобретает большое значение.

Ровно через сто лет после Андрея Лызлова в 1792 году были опубликованы ученические стихи Алексея Мерзлякова, в которых юный поэт с симпатией писал об угнетенных в Турецкой империи народах и выражал надежду на их освобождение с помощью России. Позднее, будучи уже профессором и известным русским критиком и поэтом, Алексей Федорович Мерзляков написал стихи, увековеченные на стеле, поставленной в память Лазаревых перед Лазаревским институтом в Москве. Приведя эти стихи, автор монографии обращает внимание читателя на интересную формулировку:

От древня племени Армении
рожденный,
Россией-матерью благой
усыновленный...

Эти две строчки, отмечает Р. Хачатрян, были обобщающими не только для судьбы Лазаревых, переехавших в начале XVIII в. в Россию, но и для судеб десятков тысяч армян, обретших в Рос-

сии свою вторую родину. Развивая эту мысль, автор пишет: «Одинаково ценно с точки зрения истории русско-армянского сближения и то, что эта идея родилась у русского поэта, и то, что она была признана армянской общественностью, увековечившей ее в памятнике, который по сей день стоит в центре Москвы».

Таким образом выясняется: идея освобождения Армении от турецкого ига с помощью России в русской общественной мысли возникла раньше, чем она была ясно и официально сформулирована на уровне русской государственной политики. Специалисты вопроса знают, что отражение русской ориентации освободительного движения в русской историографии и литературе XVII — XVIII вв. и точка зрения русских историков и писателей по этой проблеме мало изучены. Исходя из этого, автор выделяет для рассмотрения два основных вопроса: позицию представителей русской исторической и общественной мысли в русско-армянских отношениях, выраженную как в их трудах, так и в общественной деятельности; значение этой позиции как фактора, в определенной степени влиявшего на ход развития русско-армянских отношений и на весь процесс армяно-русского сближения. Рассмотрению этих вопросов автор посвятил целую главу книги. В конце Р. Хачатрян приходит к выводу, что весь комплекс русской исторической и общественной мысли XVIII — начала XIX вв. стал важным идеологическим фактором в укреплении русской ориентации армянского освободительного движения, в русско-армянском сближении в то далекое от нас время, когда закладывались основы присоединения Армении к России.

Таковы основные положения новой книги армянского ученого, которая нашла своего читателя, читателя думающего и интересующего историей и литературой народов нашей страны.

ЖОРЕС АНАНЯН



Контрольный корректор
Р. ШУХЯН

Адрес редакции: 375019, Ереван, пр. Маршала Баграмяна, 3.
Тел. 56-35-57, 56-36-66, 56-35-58. Типография издательства ЦК
КП Армении. 375023, Ереван, пр. Орджоникидзе, 2. Сдано в
набор 01.06.1988. Объем 7 п. л. Подписано к печати 17.08.1988.
Формат бумаги 70×108¹/₁₆. 9,6 усл. п. л. ВФ 08629. Тираж 6500.
Заказ 1092.



Б. О г а р о в. Скорбь.



Б. О г а р о в. Кавказ.

Главный редактор

АЛЬБЕРТ НАЛБАНДЯН

Редакционная коллегия:

**АРАМ ГРИГОРЯН СЕРГЕЙ ДАРОНЯН АРУТЮН КАРАПЕТАН
РЕГИНА КАФРИЭЛЯНЦ ЛЕВОН МКРТЧЯН ВАЗГЕН МНАЦАКАНЯН
МИХАИЛ ОВЧИННИКОВ КОНСТАНТИН СЕРЕБРЯКОВ
КАРЭН СИМОНЯН ГЕОРГИЙ ТАТОСЯН АРУТЮН ФЕЛЕКЯН
ГЕВОРГ ЭМИН**

Заместитель главного редактора

СЕРГЕЙ МУРАДЯН

Ответственный секретарь

ЛУИЗА КИРАКОСЯН